

ГЕОРГИЙ БАЖЕНОВ

МЕЧ МЕЖДУ
МНОЙ И ТОБОЙ
(СБОРНИК)

Георгий Баженов

Меч между мной и тобой (сборник)

«Баженов Георгий Викторович»

2006

Баженов Г. В.

Меч между мной и тобой (сборник) / Г. В. Баженов — «Баженов
Георгий Викторович», 2006

ISBN 978-5-711-70111-8

Книгу составляют лучшие повести Георгия Баженова о любви. Они
многократно издавались в России; знаком с ними и зарубежный читатель.
Читайте и наслаждайтесь, дорогие друзья.

ISBN 978-5-711-70111-8

© Баженов Г. В., 2006

© Баженов Георгий Викторович, 2006

Содержание

Метаморфозы	6
Конец ознакомительного фрагмента.	37

Георгий Баженов

Меч между мной и тобой

Метаморфозы

*Мы или делаем себя жалкими, или делаем себя сильными –
затраты души одни и те же.*

Карлос Кастанеда

Евграфов умер неожиданной смертью: в чужой квартире, в постели любовницы, от сердечного приступа.

Было мнение: Евграфова доконала Жан-Жанна. Шутка ли, на двадцать один год моложе старика. Евграфов любил жизнь, любил женщин, но ухитрился делать свои дела так, что невозможно было понять: есть у него женщины или нет. Улыбнется только, усмехнется – и все.

И вот – умер.

Однажды к жене Евграфова, прямо на улице, подошел незнакомый мужчина.

– Извините, ради бога, Екатерина Марковна, – начал он, запинаясь, – я, собственно, хотел извиниться...

Жена Евграфова не терпела уличных разговоров, а тут, услышав свое имя и отчество от незнакомого мужчины, просто испугалась.

– Простите, но... кто вы? Что вам нужно?

– Я – муж Жан-Жанны. – Он опустил голову.

– Ах, вон что! – Екатерина Марковна вспыхнула – от стыда, унижения, а еще больше – от нелепости ситуации. И быстро-быстро засемила прочь от мужчины.

Он не стал догонять ее. Просто стоял, переминаясь с ноги на ногу, и с тоской смотрел ей вслед.

Через неделю в квартире Екатерины Марковны раздался телефонный звонок. Жена Евграфова подняла трубку.

– Простите, Екатерина Марковна, что вновь беспокою вас. Это – муж Жан-Жанны.

– Слушаю, – холодно произнесла Екатерина Марковна.

– Дело в том, что у нас остались некоторые вещи вашего мужа...

– Можете выбросить их.

– Видите ли, в «дипломате», среди прочих вещей, есть запечатанный конверт.

– Меня не интересуют его письма.

– Конверт без адреса. На нем крупно выведено: «На случай моей смерти – распечатать».

– Можете распечатать, мне все равно.

– Не могу. Письмо, вероятней всего, адресовано вам.

– А вдруг вашей жене? – горько усмехнулась Екатерина Марковна.

– Не думаю. Во всяком случае, официально женой Евграфова являетесь вы, а не Жан-Жанна.

– И вы можете спокойно говорить об этом?

– Я вынужден говорить...

– Одним словом, – прервала его Екатерина Марковна, – все, что связано с моим мужем и вашей женой, мне абсолютно неинтересно. И прошу впредь не беспокоить меня.

И положила трубку.

Еще через неделю на имя Екатерины Марковны пришла посылка: обшитый белой наволочкой «дипломат» Евграфова. В «дипломате» оказались запасная рубашка Евграфова, тапочки, носки, запонки, колода карт, валидол, а в отдельном кармашке – номер «Литератур-

ной газеты», чистые листы бумаги, шариковая авторучка «Паркер» и злополучный конверт: «На случай моей смерти – распечатать».

Как-то Екатерина Марковна возвращалась с работы домой. Обычно от метро «Сокол» она выходила переулками на улицу Алабяна, пересекала ее у моста, затем шла тихими, почти деревенскими, улочками небольшого московского поселка художников (дома здесь сплошь деревянные, с садами и даже огородами – райский островок в безбрежном море высотных домов) и, наконец, выходила к своему дому, многоэтажной тяжелой коробке на улице Панфилова, на третьем этаже которой и располагалась ее пустынная квартира. Правда, мимо дома, со стороны фасада, день и ночь проносились электрички, пассажирские и грузовые поезда, которые когда-то раздражали, когда жизнь в доме кипела и шумела, а теперь грохот железной дороги привносил в мертвенную тишину квартиры не только странное успокоение, но и некоторую радость: все-таки жизнь не кончилась, продолжается, вон она – шумит, гудит, движется...

Подходя к своему дому, Екатерина Марковна обратила внимание на шум и возню около соседнего подъезда.

– И правильно, и забирайте его! Ходят тут всякие, ходят... – услышала она знакомый голос.

Знакомый? Ну да, это был голос Марка Захаровича, пенсионера из соседнего подъезда, грозы всего дома. Грозность его заключалась в том (нелепая и смешная грозность), что он везде и всюду стремился навести порядок: «Как полагается!», совал нос во всякую неурядицу, а таковой ему представлялась любая чужая жизнь.

– Ну так что, гражданин, сами пойдете... или?.. – Это уже был голос милиционера; рядом стоял еще милиционер; тут же, с ярко зажженными фарами, поджидала специальная машина.

– А вон и Екатерина Марковна! – от этого возгласа, как от выстрела, Екатерина Марковна испуганно вздрогнула. – Екатерина Марковна, ну хоть вы-то им скажите!..

Она невольно замедлила шаг, стала пристально шуриться – страдала близорукостью, а очки носить не любила, особенно на улице.

– Екатерина Марковна!

Ногами, будто налившимися свинцом, она направилась к группе людей.

– Старший сержант Поликарпов! – козырнул ей милиционер. – Простите, это вы будете Евграфова Екатерина Марковна?

– Да, я, – ответила она. – А что случилось?

– Вот этот гражданин, по паспорту Нуйкин Семен Семенович, утверждает, что поджидает именно вас. Между прочим, в нетрезвом состоянии. Вы знаете этого гражданина?

– Екатерина Марковна, да скажите вы им!.. – Он смотрел на нее умоляюще. Ей и хотелось бы сказать: нет, не знаю такого, но совесть не позволяла: ведь она знала его, хоть и знать не желала, – это был муж Жан-Жанны.

– Так знаете вы этого гражданина или нет? – Старший сержант Поликарпов истолковал заминку Екатерины Марковны в том смысле, что тут наверняка какая-то пикантная и запутанная история.

– Они часа два тут и ходят, и ходят... подозрительный такой из себя человек, в очках, – вставил слово пенсионер-общественник Марк Захарович. – Я сразу сообразил – и в милицию, и в милицию...

– А вы помолчите пока, товарищ! – бесцеремонно оборвал его Поликарпов. – Ну, так что будем делать с гражданином Нуйкиным, Екатерина Марковна? Знаете вы его или, может, знаете, да вот неожиданно забыли?

Екатерине Марковне послышалось в интонации этих слов что-то оскорбительное, она вспыхнула и выпалила раздраженно:

– Да, знаю!

(А что оставалось делать?)

– Таким образом, – вновь козырнул старший сержант Поликарпов, козырнул с разочарованием, – вы утверждаете, что мы можем оставить товарища Нуйкина под вашу ответственность?

– Да, можете, – кивнула она. А что, нужно было сказать: нет, не утверждаю, забирайте его? Но совесть и что-то еще, чему она не могла пока дать объяснения, не позволили Екатерине Марковне сделать это.

– В таком случае – всего доброго. Извините! – Поликарпов козырнул на прощание, милиционеры сели в машину, которая резко осела под их одновременным движением, и машина тронулась с места, полоснув ослепительным светом по лицу Марка Захаровича. Он испуганно ойкнул, прикрываясь потрепанным рукавом пальто, и отшатнулся в сторону.

Стало темно; Екатерина Марковна и Нуйкин стояли друг против друга. Неподалеку, никуда не уходя, с пристальным вниманием наблюдал за ними Марк Захарович.

– Пойдемте! – резко проговорила Екатерина Марковна и, развернувшись, пошла по направлению к своему подъезду. Нуйкин, стараясь не пошатываться (ему, конечно, было стыдно; а впрочем...), пошел следом за Екатериной Марковной.

Они уже скрылись в подъезде, прошло минут пять или шесть, а Марк Захарович, как всякий человек на посту, продолжал стоять на своем месте, не веря ни увиденному, ни услышанному. Он чувствовал, нутром изнывал: тут подвох, явный подвох... А вот какой? И только когда в окнах квартиры Екатерины Марковны вспыхнул свет, Марк Захарович поплотней закутался в свое длиннополое, на манер шинели, обтрепанное пальто, примечательностью которого были еще и золотые пуговицы железнодорожника, и разочарованно вздохнул. Но тут спасительно-ядовитая мысль засеребрилась в его мозгу: «А на вид вроде порядочная женщина... Не успела мужа в могилу спихнуть, а уж Семен Семенычи появились. Ну, народ, ну, народ!..» И, разгоряченный этой мыслью, спасенный ею от смертной скуки, которая одолевала его в холостяцкой, давно потерявшей всякое человеческое тепло однокомнатной квартирке, Марк Захарович отправился восвояси.

– Раздевайтесь, что же вы! – гораздо грубей и резче, чем, в сущности, хотела бы, проговорила Екатерина Марковна, включив в прихожей свет.

– Я, собственно... – начал лепетать Нуйкин, поправляя в нерешительности очки на переносице. – Вы извините...

Екатерина Марковна, даже не взглянув на него, повесила свое пальто на вешалку, сняла платок с головы, поправила волосы.

– Раздевайтесь. Откуда вы только взяли на мою голову... – И прошла на кухню.

Нуйкин начал раздеваться, снял пальто, а когда расшнуровывал ботинки, наклонился и чуть не упал, потеряв равновесие. Собственно, он бы упал, но вовремя уперся руками в тумбочку; тумбочка наклонилась, но не перевернулась, а встала на место.

– Ну, что тут у вас? – Екатерина Марковна вышла из кухни (поверх платья она успела надеть фартук). – Что, чуть тумбочку не уронили? Хорош, хорош, ничего не скажешь... Как вас по фамилии? Нуйкин, что ли?

– Нуйкин. Семен Семенович, – одернув пиджак и поправляя галстук, бодро, как бодрятся все крепко выпившие мужчины, ответил тот. – Я, собственно, к вам. Извините, просто не к кому. Я к вам посоветоваться...

– Посове-е-товаться? – удивленно проговорила Екатерина Марковна. Проговорила не только удивленно, но и насмешливо.

– Да, если позволите. – Он снова одернул пиджак, стоял перед ней навтыжку: на одной ноге – ботинок, на другой – носок. – Вы не смотрите, что я нетрезв... я давно вас жду. Часа два...

– О чем вы можете советоваться со мной? Вы? Со мной? Вы хоть понимаете, как это нелепо звучит? Ладно, – махнула она рукой, – раздевайтесь. Проходите на кухню. – И опять ушла.

Он разделся, хотел надеть тапочки, которые стояли у порога, но вдруг узнал их, ведь это тапочки, которые лежали в «дипломате», и его от отвращения передернуло. А может, вовсе и не те тапочки? Черт их знает... Он прошел на кухню в носках.

– А тапочки? – нахмурилась Екатерина Марковна.

– А-а, я так! – Он сделал неопределенное движение рукой. – Не фон-барон.

– Чай будете? – Она смотрела на него в упор, без снисходительности, без мягкости.

– Да, если можно...

– Садитесь... – Показала на табуретку.

Кухня была просторная. То есть настолько большая, с такими высокими потолками, что Нуйкин и не помнил, чтобы видел когда-нибудь подобное. Вытянув ноги, сложив руки на коленях, Нуйкин с удивлением и уважением оглядывал кухню.

– Когда-то это была коммунальная квартира. – И все, больше ничего не стала добавлять Екатерина Марковна, правильно истолковав взгляд Нуйкина.

– И сколько семей тут жило? – спросил Нуйкин.

– Три.

– Понятно. – И после некоторой паузы: – А теперь?

– Вам это очень интересно? – опять без всякой мягкости, почти грубо спросила Екатерина Марковна.

– Да нет, я так... – смутился Нуйкин. И как-то странно, нелепо, а может, стыдливо хихикнул.

Екатерина Марковна взглянула на Нуйкина с презрением. Поставила перед ним чашку дымящегося чая. Налила чаю и себе. Нарезала сыра, хлеба. Поставила масло.

Помешивая чай, Нуйкин громко (руки дрожали) стучал ложкой о края, Екатерина Марковна морщилась.

– Так о чем вы хотели посоветоваться со мной?

Нуйкин не знал, с чего начать; отпил чаю, обжегся, закашлялся.

– Видите ли... – начал он. – Извините... – И закашлялся всерьез. Надолго.

– Вы, наверное, выпить хотите? – спросила Екатерина Марковна.

– Да, не отказался бы, – признался Нуйкин.

– Вот этого как раз и не будет. Обойдетесь! – отрезала Екатерина Марковна.

– Да? – удивился Нуйкин неожиданности ее логики.

– А вы как думали? Пьянствовать будете у меня? Достаточно того, что притащились без всякого приглашения.

– Да нет, я ничего... Мне только нужен один совет. Дело в том, что я... Сами понимаете, Екатерина Марковна, мое положение... я подал на развод...

Екатерина Марковна продолжала смотреть на Нуйкина строго, придирчиво, никак не выражая в словах своего отношения к услышанному.

– Понимаете? – переспросил Нуйкин. Лоб его покрылся испариной.

Екатерина Марковна кивнула: мол, понимаю, а дальше что? А, впрочем, снисходительности ради, с некоторой паузой произнесла:

– Давно пора.

И с нажимом добавила:

– Я вообще не понимаю, как можно жить с такой женщиной.

– Но я ничего не знал! – протестующе воскликнул Нуйкин.

– Бросьте! Всё вы знали. Просто лгали себе.

– А вы?

– Что – я? – Екатерина Марковна окинула Нуйкина ледяным взглядом.

– Вы разве не знали?

– Мало ли что я знала... И потом – мне было все равно.

– Что-то я не совсем понимаю...

– А это и неважно – понимаете вы или нет. Вы для чего пришли сюда? Для этого?

– Простите, – согласно закивал головой Нуйкин. – Конечно, нет, не для этого. Но, видите ли, я... в некотором роде... считаю нас братьями по несчастью. Хотя ваше несчастье, конечно, несоизмеримо с моим. У вас умер муж.

– Туда ему и дорога.

Тут Нуйкин поперхнулся, так что хлеб с сыром, который он только что откусил, крупными крошками разлетелся по кухне. Екатерина Марковна проследила за траекторией крошек, спокойно произнесла:

– Вон тряпка. – Кивок на раковину. – Убирайте сами. Не фон-барон, правильно заметили.

Нуйкин нестерпимо покраснел; вообще в жизни он краснел часто, но тут его окатил жаром особый стыд – за свою неряшливость, бескультурье, да и стыд за унижительность своего положения тоже был. Небольшого роста, плотный, с крупными залысынами, с лицом вечно несчастного, грустного мима, Нуйкин выглядел в эти минуты довольно живописно: именно таких мужиков презирают женщины, чтобы тем самым еще больше возвыситься в собственных глазах.

Красный, разом вспотевший, Нуйкин прошел к раковине, взял тряпку, намочил ее и, неловко приседая, кряхтя, начал то там, то сям собирать крошки на полу обширной кухни.

Екатерина Марковна продолжала пить чай; по возрасту она, пожалуй, приходилась ровесницей Нуйкину, лет под тридцать пять обоим, но выглядела помоложе гостя, свежей, что ли, и главное – в посадке ее головы, во взгляде, в аккуратно уложенных черных волосах, в воинственности орлиного носа, в темных пронзительных и беспощадных глазах – во всем ее облике чувствовалась уверенность в себе, непреклонность и даже властность характера. Именно от таких женщин чаще всего сбегают мужья.

– И вон там еще забыли, – как бы между прочим произнесла Екатерина Марковна.

Нуйкин поднял на нее встревоженный взгляд, при этом умудрился покраснеть еще больше, чем прежде:

– Где?

– Вон, в углу, – показала она.

В самом деле, Нуйкин увидел там крошки. Бросился собирать их. И только после того, как, кажется, собрал все до единой, промыл тряпку в раковине и развесил ее на кране сушиться.

– Так о чем вы хотели посоветоваться со мной? – Екатерина Марковна показала Нуйкину на табуретку.

Нуйкин покорно сел. Склонил голову. Уперся руками в колени.

– Дело в том, что в последнее время многие отвернулись от меня...

«Еще бы!» – подумала Екатерина Марковна.

– Как будто это я что-то совершил, а не жена... На нее-то наоборот – как на героиню смотрят.

– Жена загуляла – муж виноват, муж загулял – жена виновата, у нас так, – бесстрастно подтвердила Екатерина Марковна.

– Вот-вот... А разве это я виноват? – встrepенулся Нуйкин.

– Виноватых у нас никогда нет, – жестко сказала Екатерина Марковна.

– Не знаю-у... – протянул Нуйкин. – Я своей вины ни в чем не вижу.

– А разве не потворствовали жене?

– В чем?

– Ладно, не в ту сторону поехали, – оборвала Екатерина Марковна. – Так что вы хотели сказать?

– Видите ли, я подал на развод. Мне нужна помощь... однако все отвернулись от меня.

– Какое вам дело до «всех»?

– Мне нужен друг. Сообщник, что ли. Дело в том, что есть только одна причина, по которой развод в суде оформляется немедленно.

– А вам, конечно, нужно немедленно? – усмехнулась Екатерина Марковна.

– Да. Жить рядом с женой для меня пытка. Я больше не могу. Я ее ненавижу.

– Ну, и при чем здесь я?

– В заявлении в суд я написал, что наш брак с женой давно распался, так как фактически я поддерживаю супружеские отношения с другим человеком. При этом считаю необходимым оформить эти отношения юридически.

– Опять тот же вопрос: при чем здесь я? – Екатерина Марковна посматривала на Нуйкина даже с некоторым интересом.

– Видите ли, я уже говорил, что считаю нас с вами в некотором роде братьями по несчастью. Поэтому надеюсь на вашу помощь. Помогите мне, Екатерина Марковна!

– Да в чем?

– Если на суде меня спросят, кто именно тот человек, с которым якобы я поддерживаю супружеские отношения, нельзя ли мне сослаться на вас?

– То есть как? – изумилась Екатерина Марковна.

– Ну, я скажу: это, мол, такая-то, Екатерина Марковна Евграфова, проживает по такому-то адресу и так далее...

– Да вы сумасшедший! – невольно вырвалось у Екатерины Марковны.

– Но это же понарошке. Только чтоб развели поскорей. И чтоб человек был реальный. Чтоб в случае чего подтвердил: да, так все и есть. А больше мне ничего не надо. Ничего! Помогите, Екатерина Марковна!

– Нет, вы определенно ненормальный, – с нажимом произнесла Екатерина Марковна. – Мало того, что муж путался с вашей так называемой Жан-Жанной, так вы еще меня хотите вплести в эти дела. Да вы представляете, о чем вы вообще говорите?! Или вы настолько спились, что потеряли всякое представление о реальности?

– Я не спился. Я вообще не пью. А это так – для храбрости. От растерянности.

– Знаете что, Нуйкин, избавьте меня от ваших объяснений. Кто вы, что вы, какие там дела у вас с женой, – меня не интересует. Все! И на этом конец! – Екатерина Марковна поднялась с места.

Нуйкин в смятении и даже в некотором испуге тоже привстал с табуретки.

– Я ведь только хотел... думал, вы, как собрат по несчастью... А вы не поняли. Обиделись. Зря! Я не хотел... извините!

– Все! Все! Ей-богу, есть предел человеческому терпению. Вся эта грязная история мне вот так надоела! – Она чиркнула ладонью по горлу. – Уходите!

– Ухожу, ухожу. – Нуйкин, прижав руки к груди, округлив глаза, попятился к выходу.

– И чтоб больше не звонили мне! Не ходили! Не торчали! Чтоб духу больше вашего не было! – не на шутку разошлась Екатерина Марковна.

Семен Семенович поспешно оделся, причем в последнюю секунду выронил из рук портфель, откуда веером посыпались газеты, журналы, пробки от пивных бутылок.

– Я сейчас, сейчас, мигом... – В спешке он засовывал газеты и журналы как попало.

– И пробки забирайте! Не пьет он... А чего пробки с собой таскаете?

– А это, – он поднял на нее глаза, – я пиво пил. Не выбрасывать же пробки на улице?

– Ишь какой... Ну, ладно, забирайте все поскорей!

Наконец он вышел за двери.

– Извините, Екатерина Марковна, я... – Он хотел еще что-то сказать, оправдаться, но Екатерина Марковна решительно захлопнула дверь прямо у него под носом.

Вот так же хлопнула она дверью, когда Евграфов пошел умирать к Жан-Жанне. Он, конечно, не знал, что пошел умирать, и она не знала, никто не знал, но именно так все случилось. Она спросила его тогда:

– К девкам своим потащился?

И он ответил. Он усмехнулся:

– Ну да. К девкам.

– Чтоб ты сдох там! – И с грохотом захлопнула дверь.

И он пошел к Жан-Жанне. Он сначала усмехнулся, затем улыбнулся и пошел. Его устраивал гнев жены. Злиться – значит, можно взять портфель, повернуться и уйти. А она хлопнет дверью. Самое глупое, что делают жены, – это когда злятся на мужей. Когда ненавидят их. Тогда-то именно спокойно делайте все, что вздумается. Жена может пронять мужа равнодушием. Безразличием. Молчанием. Презрением, наконец. А гневом – нет. Бранью – нет. Ненавистью – нет. Впрочем, о чем тут говорить, вы сами все – мужья и жены...

Вообще-то Евграфов в последнее время хандрил. Давило что-то. Если бы позже, мертвый, он мог осознать прошлое, он бы понял, что это было предчувствие конца. А он к смерти относился насмешливо. Смерть – она есть, да не про нашу честь. Не в пятьдесят же четыре года умирать, в самом-то деле? А ведь вот давило что-то, мучило... что?

С Жан-Жанной он познакомился не так, как знакомился с другими женщинами. Не так – то есть не напрямую: не взял вот прямо на улице и пристал, или приглядел, например, в ресторане, или встретил у приятеля на выставке. Собственно, живописью интересовалась Марьяна Иоанновна, ее мать; маленькая двухкомнатная квартира в Бабушкине; внучка Барбара пятидесяти лет; книги, картины, серебро; Марьяна Иоанновна была отчасти иностранных кровей, отсюда особые манеры, горделивость, чувство собственного достоинства. Евграфову нравилось бывать у Марьяны Иоанновны потому, что она и в самом деле любила живопись импрессионистов. Многие, кому Евграфов сбывал копии Дега или Писсарро, Мане или Сислея, Ренуара или Клода Моне, хапали картины либо по глупости, либо из горделивого высокомерия: у меня вот есть, е-е-есть, а у тебя? Да мало ли нюансов в купле-продаже картин (копий, конечно), а вот Марьяна Иоанновна обожала импрессионистов искренне. Настолько искренне, что, например, постимпрессионистам уже не находилось места в ее сердце. Гогена или, скажем, Ван-Гога она знать не хотела (какой это *импрессионизм*, пусть даже и пост? – это же сущий примитивный *реализм*]), исключение делала только для Сезана, считая его живопись промежуточной между импрессионизмом и постимпрессионизмом. Бывая у Марьяны Иоанновны (копии Евграфов всегда сам доставлял на дом, такое было золотое правило), Евграфов нередко задерживался в этой тихой уютной квартире – посидеть с Марьяной Иоанновной за чашкой кофе, поговорить о том о сем, просто отдохнуть перед дальней дорогой: заказов много, клиенты ждут и несть им числа... Тешила сердце Евграфова и внучка Марьяны Иоанновны, Барбара. Тешила главным образом одной, исключительно редкой в наши дни чертой характера – послушанием. Нет, она не была ни забита, ни глупа, – она относилась с любовью, с обожанием, с уважением к бабушке, – отсюда радостное, раскованное, счастливое послушание. Удивительно! Легкий человек, любивший радость, праздничность и сиюминутность жизни, Евграфов уставал от бесконечной – явной или тайной – семейной борьбы. Уставал от того, что женщина, будь она хоть мать, хоть жена, хоть дочь, не видит никакого другого назначения на земле, кроме *борьбы* с мужчиной, будь он сын, муж или зять. Никто и нигде, никакие женщины (в семье, только о семье разговор!) не слушаются, не почитают, не уважают мужчину, как главу рода, как кормильца, как человека, дающего жизни возможность быть полной, радостной, счастливой, осмысленной. Удивительно! А ведь есть, есть другие примеры в жизни – вот хоть Барбара и ее бабушка, Марьяна Иоанновна. Пусть тут нет мужчины, но тут есть почитание старшего, ува-

жение к нему, любовь и трепетность перед его авторитетом. Кстати, отца у Барбары вроде как бы и не было (так из нескольких мимолетных объяснений понял Евграфов), и мать Барбары – дочь Марьяны Иоанновны – решила всерьез заняться своей судьбой, вышла замуж, оставив дочь на попечении бабушки, а тем только это и нужно было...

И вот так однажды Евграфов сидит у Марьяны Иоанновны, пьет кофе из тонкого китайского фарфора, ведет неспешные разговоры об особой загадочности колорита Моне, если вспомнить, например, «лондонский» цикл его шедевров, с чем Марьяна Иоанновна была бесспорно согласна: «Да, да, это действительно загадка, сплошной туман, Темза и вдруг – сиреневый-сиреневый! – Биг Бэн, сиреневая Тауэр, это поразительно, просто чудо!..» – и тут звонок в дверь, Барбара открывает, и слышен ее тонкий радостный голос: «Ой, мамочка, ты такая холодная, как льдинка!»

Евграфов удивленно-вопросительно взглянул на Марьяну Иоанновну.

– Извините, – улыбнулась она, – я на минутку. Это, кажется, Жан-Жанна, дочь... – И оставила Евграфова одного.

Естественно, затем последовало знакомство, и, помнится, Евграфова с первой минуты пронзило: все будет! У Жан-Жанны были свободные, широкие движения, глаза смотрели удивленно и требовательно одновременно, пухлые сочные губы, слева над верхней губой маленькая, как малиновая бусинка, родинка и, разумеется, светлые пышные волосы. Первая же улыбка, которой она одарила Евграфова, словно говорила: «Ах ты старый, хитрый плут, ишь, загляделся, ну посмотри, посмотри, не жалко, да и что может быть жалко молодой женщине, мечтающей только об одном – о счастье!..»

Живописью Жан-Жанна не интересовалась (или делала вид, что она ей совершенно безразлична, – ох, бестия!), на тонкие, глубокомысленные разговоры Евграфова о картинах, пейзажах, колоритах не реагировала. Изредка, ни с того ни с сего, начинала громко и обидно смеяться (а почему обидно – чуть ниже), Евграфов морщился, а Марьяна Иоанновна всякий раз произносила:

– Жан-Жанна, ну как можно...

Дело в том, что, когда познакомились и Евграфов, как обычно, вполне серьезно представился: «Кант Георгиевич!» – Жан-Жанна посмотрела на него как на сумасшедшего и, не выдержав, взорвалась от смеха:

– О Господи, везет же мне на идиотов!

– Жан-Жанна... – Это, конечно, голос матери. Укоризненный голос.

– Одного зовут Кант Георгиевич, другого – Иван Карлович, третьего – Семен Семенович! (Иван Карлович, как выяснилось позже, был ее тогдашний – до Евграфова – любовник.) Ну скажите, что может быть смешнее этих сочетаний – Кант Георгиевич, Семен Семенович?!

– Ничего не вижу смешного, – вмешалась мать.

– А фамилия, фамилия ваша как? – смеялась Жан-Жанна.

– Ну, Евграфов.

И это еще больше рассмешило ее:

– Господи, Евграфов! Муж у меня – Нуйкин, а вы – Евграфов. Семен Семенович Нуйкин и Кант Георгиевич Евграфов! Восхитительно! Откуда вы только беретесь такие? В каких берлогах рождаетесь? Из каких дыр вылезаете?

Отец Евграфова – Георгий Иванович – был профессиональным философом, и нет ничего удивительного, что своего сына-первенца он назвал Кантом (нужно вспомнить те годы, всеобщий энтузиазм, мечту о мировой революции, повальное увлечение вечными вопросами бытия). Тогда это сочетание – Кант Евграфов – воспринималось не только красивым, но и значимым, осмысленным, передовым. Впрочем, и нынче в кругу художников, музыкантов, людей кино, в кругу женщин, обожающих искусство, имя и фамилия Евграфова – Кант Евграфов – принимались с уважением, с пониманием: был тут свой шарм, чувствовалась художественная

изюминка. Многие, честно говоря, думали, что это не настоящие имя и фамилия Евграфова, а его псевдоним.

...Однако, несмотря ни на что, из квартиры в Бабушкине Евграфов с Жан-Жанной уезжали вместе. Ну, еще бы – у Евграфова машина, «Жигули», и почему бы не подвезти красивую молодую женщину? А куда подвезти? А хоть куда, ответила Жан-Жанна и рассмеялась. «Не понял», – подумал Евграфов. В машине она еще несколько раз принималась хохотать (Евграфов понимал – вспоминала его фамилию и имя, но, удивительное дело, теперь не злился, не обижался), блестели ее белые зубы, блестели глаза, обворожительна она была, ничего не скажешь...

– Вы что, свободны сейчас? – спросил Евграфов.

– Сама не знаю, – беспечно бросила она.

«Не понял», – подумал Евграфов, но уже с какой-то радостью подумал.

– Может, заедем к одному знакомому художнику? О, по делу, по делу, – поспешил добавить он, потому что Жан-Жанна посмотрела на него... с насмешкой? с презрением? с беспощадным пониманием? Одним словом, посмотрела так, что он забормотал: – О, по делу, по делу...

– Все ваши дела ведут к одному... Поехали!

Знакомый художник, Володя Хмуруженков, жил как раз в одном из домиков в поселке своих братьев, неподалеку от «Сокола». Евграфов сам открыл деревянные ворота; с шелестящим шумом машина въехала во двор – шуршала под шинами пожухлая трава. Дымилась осень; горели клены. Выйдя из машины, Жан-Жанна почувствовала себя не совсем привычно: в городе шум, гам, столпотворение, а тут – райская тишина, покой, листья падают с кленов. Странное местечко в Москве.

Художник работал. Молодой, русский, с длинными чистыми волосами, с русой, будто пенящейся, бородой, со светлыми глазами, которые, правда, смотрели так, будто не видели вас: во всяком случае, никакого доброго расположения или радости они не выражали при вашем появлении. Художник даже не кивнул в ответ на их приветствие.

– Как дела? – спросил Евграфов.

– Работаю, – просто, без всякой интонации ответил художник.

Евграфов подошел к художнику со спины, взглянул на холст через плечо:

– Дега?

Художник, не оборачиваясь, кивнул.

– Жан-Жанна, это Дега. «Голубые танцовщицы», – повернулся Евграфов к Жан-Жанне.

– Не знаю таких.

Художник усмехнулся: его всегда забавлял выбор Евграфова.

– У вас есть выпить? – строго, как бы с вызовом спросила Жан-Жанна у художника.

Комната (мастерская), в которой они находились, была сплошь заставлена и завешана картинами. Было много цвета, обнаженных женщин, пленэра.

– Я не пью, – ответил художник, продолжая как ни в чем не бывало работать. – И вам не советую.

– Кстати, познакомьтесь, – сказал Евграфов. – Это – Жан-Жанна, а это – Владимир Хмуруженков. Великий художник.

Художник в который раз усмехнулся.

– Ну, в будущем, в будущем... – поспешил Евграфов. – Всех великих признают только после смерти.

– Не лги, Евграфов, – сказал художник.

– А вы могли бы нарисовать меня? – спросила Жан-Жанна. Она развалилась в мягком, глубоком старинном кресле. Она была молода, хороша собой, она знала это.

– Зачем? – спросил художник.

– Что зачем? – не поняла Жан-Жанна.

– Зачем вас рисовать? – Художник обернулся, посмотрел на нее долгим, пристальным, оценивающим взглядом.

– Неужели я хуже их? – Она кивнула на картины. На женщин, которых такое множество было вокруг. Кивнула и улыбнулась художнику.

– Вы не из тех, кого рисуют. – Художник вновь повернулся к холсту. – Если не ошибаюсь, вы женщина пустая. Как прикажете изобразить вас на холсте?

Жан-Жанна рассмеялась. Рассмеялась весело, искренне, как будто услышала отменный комплимент.

– Наверняка вы неудачник, – сказала она. – Точно, неудачник. Первый раз видит женщину и – обижает ее. Талантливые люди великодушны.

– Да? – удивился художник. Он и в самом деле удивился: оказывается, она не так глупа, как показалось вначале.

– Между прочим, я заехал по делу, – вклинился в разговор Евграфов. – Закончились картины.

– Вон, в углу, – кивнул художник. – Давно ждут...

В углу действительно стояли картины, завернутые в белую плотную ткань, перетянутые бечевкой.

– Ну, мы поехали? – сказал Евграфов.

– Давайте.

И на этом все, ни слова на прощание; Евграфов с Жан-Жанной вышли из дома.

– Он всегда такой? – спросила Жан-Жанна, когда они выехали на Ленинградский проспект. Жан-Жанна курила сигарету, в салоне струился оркестр Поля Мориа.

– Володя и правда талантливый художник. Но он вынужден зарабатывать на жизнь. И он злится, потому что на это уходит много времени.

– А ты? – Жан-Жанна впервые назвала его на «ты», и сердце у него залилось волнением: сколько ни живи, хоть до глубокой старости, сердце у мужчины остается молодым.

– Что – я? Я посредник. В воздухе мода на импрессионизм – видно, по контрасту со всеобщим прагматизмом, все хотят иметь хотя бы копии Ренуара, Сислея, Дега, Мане, и мы их поставляем.

– И когда-нибудь вас, конечно, посадят за это, – спокойно, в тон Евграфову произнесла Жан-Жанна.

Евграфов покосился через зеркальце на Жан-Жанну, снисходительно улыбнулся:

– За что? Володя – член Союза художников, я – научный сотрудник Всесоюзного художественного фонда. Ничего противозаконного.

– Живете, значит, на зарплату? – усмехнулась Жан-Жанна и стряхнула пепел на пол.

– У творческих работников, дорогая, зарплаты не бывает. Они живут на гонорары. Кстати, ограничений на гонорары не бывает.

– Хорошо устроились.

– Никому не запрещается. Бери кисть, краски, мольберт – рисуй. Небось сразу запоешь: есть хочу, пить хочу... А тебе вместо этого – шиш с маслом!

– Что-то не заметила ваших голодных глаз и подтянутых животов.

– Спасибо классикам, они нас выручают. Когда-то они голодали, теперь помогают нам. Потом и мы кого-нибудь выручим. Всему свое время...

– Ох, до чего мужики самоуверенный народ!

– Дело не в самоуверенности... Дело в вере. Заедем пообедать?

– Конечно, к тебе домой? И там, конечно, ты начнешь приставать? – Она смотрела на него с насмешкой.

– Зачем же? В ресторан «София», например. Сейчас как раз проезжать будем, площадь Маяковского...

– Ну, если в ресторан, – поехали.

Евграфов любил жизнь. И в такой форме тоже любил – когда на него плюют. Когда женщине нет никакого дела до него, до Евграфова, как до мужчины, а тем более – как до художественного дельца. Пусть. Ведь интересно, что вот ты для кого-то совершенное ничто, потом идет время, еще идет, и вдруг все разом меняется: женщине хорошо с тобой, женщина уже с трудом представляет, как это раньше не было тебя в ее жизни. Странно, правда, странно... А вся отгадка в том, что не нужно нажимать, давить, спешить. Не нужно подминать. Иногда нужно вместе пообедать в ресторане. Иногда – съездить куда-нибудь за город, например в Архангельское. Иногда – небрежно так вручить билет на Таганку, скажем – на Вознесенского. Иногда – что-нибудь подарить. Вот-вот, подарить. Мужчина нынче пошел прагматик: в постель – пожалуйста, а дарить, тратиться – увольте. А ты – даришь. Ты – Евграфов, ты добрый, улыбочивый, ты не обижаешься, даже если тебе плюют в лицо (ты еще возьмешь свое), тебе просто нравятся красивые люди, женщины, их слова, улыбки, жесты, мягкие волосы, большие глаза, плавные жгучие движения. Тебе нравится эта игра, потому что в любой игре есть победители и побежденные. Отчего же не побыть в роли победителя? В конце концов мужчина – всегда победитель, если он идет до конца. А кому не хочется лишний раз убедиться в том, что он – мужчина?

Мужа Жан-Жанна презирала. За что – о том рассказ ниже.

В Иване Карловиче, любовнике, она обожала эрос (именно так она выражалась), но не любила в нем хитрость, изворотливость, жадность.

И вдруг – Евграфов. Которому ничего не нужно. Добр. Улыбочив. Сговорчив. Что вам нужно от меня, Кант Георгиевич? О, ничего, Жан-Жанна, абсолютно ничего... Вот ведь врет, а все-таки приятно, когда человек говорит, что ничего ему не нужно от тебя. Наоборот – он только и занят тем, что делает подарки. Поверьте, это доставляет ему удовольствие. Один раз – джинсы. Джинсы – с ума сойти! Настоящие, американские, с заклепками, с «фирмой», с замками. В другой раз – позолоченные часы. В третий – югославские сапожки. В четвертый – японский халат и отличное, японское же, нижнее белье. В пятый...

В пятый раз они оказываются у Жан-Жанны дома. Сначала – за чашкой чая. Потом – в постели.

В метро, перед самым выходом из дверей, кто-то нечаянно толкнул Екатерину Марковну, сумка ее раскрылась, и апельсины, как бильярдные шары, веером покатались в разные стороны. Несколько человек бросились помогать Екатерине Марковне; она в благодарности кивала головой, подхватывала апельсины и, краснея, будто делала что-то постыдное, быстро складывала их в сумку. Неожиданно в одном из мужчин она узнала Нуйкина.

– Семен... Иванович? – удивилась она.

– Да, я, – кивнул он. – Только Семен Семенович. Добрый день, Екатерина Марковна.

– Вы? Откуда? Что вы здесь делаете? – Странные вопросы задавала она, как будто человек не имеет права оказаться там, где он оказался. Тем более в Москве, где дороги каждого неисповедимы.

– Я здесь живу. Неподалеку, – ответил он, и они вместе вышли наконец из метро.

– Странно, – сказала она. – Насколько мне помнится, вы жили от «Сокола» Бог знает на каком расстоянии...

– Все меняется, Екатерина Марковна, – ответил Нуйкин. – В том числе и место жительства.

– Ах, да, да... – догадливо произнесла она, вспомнив, что Нуйкин ведь собирался разводиться с женой.

Сколько прошло времени со дня их последней встречи? Верней, с того дня, когда Екатерина Марковна выставила Нуйкина за дверь? Тогда была осень, сырость, промозглый вечер, теперь – апрель, сухо в Москве, набухают почки тополей, скоро майские праздники... Полгода? Пожалуй, даже больше.

– Разрешите, – Нуйкин подхватил сумку Екатерины Марковны.

– Но мне вот сюда. Налево, – показала она.

– Ничего. Мне почти туда же, провожу вас, – сказал он.

Некоторое время шли молча. Странное дело, оба чувствовали, что за последние месяцы они изменились. Или это только казалось?

– Ну как вы, развелись с вашей женой? – спросила она.

– Да, развелся, – кивнул он.

– У вас есть дети?

– Дочка.

– Теперь платите алименты?

– Да, – сказал он.

– Больше всех страдают от семейных неурядиц дети.

Нуйкин на это ничего не ответил, промолчал.

– Вот что я вспомнила, – Екатерина Марковна улыбнулась. – Нашли вы тогда себе «невесту»?

– Нет, не нашел. – Отвечать улыбкой на улыбку Нуйкину не хотелось. Он ответил строго, серьезно.

– Значит, никто не захотел комедию ломать?

– Никто.

– Вот видите... А вы, наверное, обиделись тогда на меня?

– Нет, не обиделся. Я испугался. Вы тогда так разозлились...

Екатерина Марковна рассмеялась.

– Станный вы человек, – смеялась она. – И часто вам приходят в голову такие сумасбродные идеи?

– Если идеи помогают меньше страдать – разве это сумасбродные идеи?

– Да? – удивилась она.

– Да, – ответил он.

Он сказал «да» и подумал: странно, что она смеется. Полгода назад ее, такую воинственную, суровую, неприступную, нельзя было и представить смеющейся.

– Наверное, у вас случилось что-то хорошее? – спросил он.

– Хорошее? – она внимательно посмотрела на него, потому что вопрос этот удивил ее. – Как сказать... А в общем, да: приехала дочь с Байкала.

– Я и не знал, что у вас есть дочь. Поздравляю!

Они уже вышли на улицу Алабяна, теперь пересекали ее, переходили на другую сторону неподалеку от моста.

– Она окончила десять классов и уехала на БАМ. Она ненавидела нас. Нас – то есть родителей. В знак протеста не стала никуда поступать и уехала.

– Ненавидела... За что? – задумчиво спросил Нуйкин.

– Как будто не было за что ненавидеть, например, Евграфова, – ответила Екатерина Марковна. – Она все видела. Все понимала. А меня ненавидела, потому что я терпела. Смирялась с подлостями мужа.

– Понятно, – в прежней задумчивости проговорил Нуйкин.

– Ну, вот мы и пришли, – неожиданно бодро-приподнято сказала Екатерина Марковна. Они и в самом деле стояли около ее дома. – Спасибо вам, – и протянула руку. – Рада была повстречаться с вами.

Нуйкин стеснительно пожал ей руку в ответ.

– Где же вы живете? – спросила она.

– На Песчаной, – ответил Нуйкин.

– О, совсем близко. Даст Бог, увидимся еще. Всего доброго!

– До свидания, – сказал Нуйкин.

На этом они расстались.

У Евграфова были любопытные мысли насчет «вечного двигателя». Когда он их высказывал, например, людям техническим, инженерам, физикам, электронщикам, мало ли какие специалисты встречались ему на пути в его коммерческих вояжах, от него поначалу отмахивались: ну, глупости какие!.. А потом, подумав, каждый вдруг находил идею Евграфова не совсем сумасбродной. То есть, конечно, сумасбродной, дикой, но тем не менее в *принципе* любопытной, даже, может быть, существенно новой, а может, отчасти и гениальной. Только вот циничной, что ли... Или гениальность не бывает циничной?

Отец Евграфова, философ Георгий Евграфов, в бесконечных спорах с коллегами нередко касался и этого вопроса – «перпетуум мобиле». Сын слушал, думал, ломал голову и, став взрослым, не только нашел разгадку «вечного двигателя», но даже удивлялся, почему до него никому не приходило в голову это простейшее, и легкое, и на поверхности лежащее решение.

– Ты знаешь, что такое «перпетуум мобиле?» – спросил Евграфов у Жан-Жанны в первый же день их постельной любви.

– Думаешь, я совсем дурочка? – усмехнулась Жан-Жанна, развалившись как тигрица на белоснежных простынях.

– А все-таки?

– Ну, «вечный двигатель». Устраивает?

– Вечный двигатель – это любовь, – глубокомысленно произнес Евграфов.

– Ах-ха-ха! – рассмеялась Жан-Жанна. – Евграфов, ты не только живописный маклер, ты еще и философ! Поздравляю, поздравляю, Евграфов.

– Да ты вдумайся, в самом деле! – разволновался Евграфов. Он каждый раз волновался всерьез и искренне, когда приходилось объяснять свою теорию новому человеку, особенно женщине. – Покуда было, есть и будет человечество, была, есть и будет любовь. Любовь вечна, это аксиома. А какова любовь в физическом смысле? Она – двигательна. Представь себе наш земной шар. Он постоянно вращается. И каждую секунду, каждую минуту, каждый час где-то на земле ночь, а ночь – это любовь, а любовь – это движение. То есть движение любви не прекращается на земле никогда. Теперь вопрос: использует ли человек это движение? Не в сущности своей, не в конечном результате – то есть не в воспроизведении потомства, а в смысле использования любви как физического движения? Если бы человечество обязало каждого из нас после свадьбы, например, прикреплять к ноге специальный аппарат, который преобразует физическое движение в энергию, скажем, электрическую, то, представь себе, какие запасы энергии получало бы человечество в каждую секунду своего существования! Появился бы вечный, никогда не прерываемый и никогда не истощаемый «перпетуум мобиле». Понимаешь ли ты, любовь – это и есть вечный двигатель?! Понимаешь, нет?!

Жан-Жанна искренне смеялась. Повалив Евграфова, щекотала его: Кантик ты мой, Евграфов ты мой глупый, дурной, ох, и дурной... Запомните: Кант Евграфов – изобретатель вечного двигателя!..

Увиделись они гораздо быстрее, чем, наверное, могла предположить Екатерина Марковна. Через два дня. На Ленинградском проспекте, неподалеку от 57-го отделения почтамта, Екатерина Марковна зашла в булочную – редко сюда заходила, не совсем по пути, а тут зашла. Взяла половинку черного и батон. Подошла к кассе. И когда подняла глаза от полиэтиленового пакета, в который сложила хлеб, – обомлела. За кассой сидел Нуйкин.

– Добрый день, Екатерина Марковна, – улыбнулся он.

– Здравствуйте, – пролепетала она и почувствовала, как жгучий, сильнейший стыд залил ей лицо. И не только лицо, но и шею. И даже руки. К тому же руки, почувствовала она, стали мелко дрожать.

– С вас двадцать одна копейка, Екатерина Марковна. – Он продолжал, кажется, улыбаться, но она плохо видела, неожиданно все стало для нее как в тумане.

– Да, да, сейчас... – Дрожащими руками она достала из кошелька «двадцатник» и копейку, причем копейка выскользнула из пальцев, пока Екатерина Марковна нагибалась, искала ее на полу, в очереди раздались недовольные голоса.

– Тихо, тихо, товарищи, – успокаивал их Нуйкин, и, кажется, еще больший стыд, чем прежде, вновь залил лицо Екатерины Марковны, когда она наконец нашла копейку и подала деньги Нуйкину.

Подала и тут же пулей выскочила из магазина, ничего не сказав Нуйкину в ответ, хотя он как будто о чем-то спросил ее. Впрочем, нет, он, кажется, просто сказал: «Всего доброго, Екатерина Марковна, заходите еще». Она выскочила из булочной и, красная, возбужденная, слепо наталкиваясь на прохожих, помчалась по проспекту. И вдруг встала. Остановилась как вкопанная. (Прохожие с удивлением посматривали на нее.) Вспомнив себя, свой стыд, горящие щеки и как отводила глаза, когда Нуйкин приветливо здоровался с ней, и как мелко, подло дрожали руки, когда возилась с кошельком, вспомнив все это, она вдруг пронзилась чувством гадливости к самой себе. Как же так? Что с ней случилось? Оказывается, ей было стыдно! Стыдно, что Нуйкин – ее знакомый, что он, мужчина, сидит за кассой, в хлебном магазине; показался стыдным сам этот факт. Как же так?! Что с ней случилось?! Неужели она такая? И теперь другой, новый стыд, не тот прежний, жалкий, трусливый, а стыд настоящий, из глубины души, стыд человеческий опалил ее всю с ног до головы так, что по телу побежали мурашки. И ведь он понял, наверное? Конечно, понял! Он же не дурак... Он все понял, Господи! И это она, которая всегда и всюду, в каждом человеке стремилась прежде всего разглядеть душу... Она, которая кричала когда-то Евграфову в лицо: «Мерзавцы, подлецы, из-за вас нечем дышать простому человеку, вы все осквернили своими хапужными руками, у вас все продается и покупается, и нет ничего для вас святого!» (На все эти слова Евграфов спокойно-блаженно улыбался.) Она ненавидела Евграфова, его знакомых, его философию, всю его жизнь, тайную и явную, и в себе самой, в глубине, в спрятанной сути, хранила только одно, как талисман: святое уважение к простым людям, к труженикам, к тем, кто истинно работает, занимается делом, каким бы маленьким и неприметным оно ни казалось. И вот – устыдилась Нуйкина! Отчего? Оттого, наверное, что в мыслях своих она кем только не представляла Нуйкина, но только не продавцом, не кассиром в хлебном магазине! Инерция шаблонного восприятия людей сыграла с ней злую шутку. Она *заранее, давно* отринула от себя Нуйкина, представляя его, по подобию со своим мужем, каким-нибудь верным подлецом и негодяем. Ведь, положила руку на сердце, она ни разу не поинтересовалась, чем занимается Нуйкин, хотя разговаривала с ним не однажды. Почему? А когда увидела, осознала, что он самый наипростейший человек (уж куда проще – кассир в хлебном магазине), – сразу и устыдилась его. Узнай она, что он, к примеру, директор ювелирного магазина, или кандидат технических наук, или хоть стоматолог, – наверняка не устыдилась бы, хотя про себя могла с радостью отметить: а-а, ясно, и этот мошенник, бездельник, паразит или кто там еще... В том-то вся и штука в жизни: подлецов не уважаем, ненавидим, негодуем против них в глубине души, но – не стыдимся знакомства с ними! А простого

человека – любим, уважаем, восхищаемся им, а чуть до дела, чуть до того – *что* о нас подумают окружающие, *как* мы выйдем в глазах толпы, – сразу и устыдишься знакомства с маляром, вахтером, бедно одетой старухой или вот мужчиной – кассиром в хлебном магазине.

Екатерина Марковна резко развернулась и, как прежде, слепо наталкиваясь на прохожих, заспешила в обратную сторону. Вошла в магазин. Нуйкин все так же сидел за кассой, спокойно, приветливо, чуть ли даже не с радостью, как казалось, обслуживая покупателей.

– Семен Семенович! – Она решительно подошла к кассе – не со стороны очереди, а чуть сбоку, прямо от входной двери. – Семен Семенович, – повторила она несколько глуше (в очереди начали поглядывать на них), однако самым мучительным оказалось то, что Екатерина Марковна сама не знала, что хотела бы сейчас сказать.

– А, Екатерина Марковна! Забыли что-нибудь? – радостно, как совсем недавно, улыбнулся Нуйкин.

– Семен Семенович! Завтра у моей внучки день рождения. Приходите, пожалуйста! – Екатерина Марковна не ведала, откуда всплыла в ней эта идея, верней – как она вспомнила о дне рождения внучки, хотя это было истинной правдой. Слова высказались сами собой, как если бы их вынесло наружу какое-то течение.

– У вас есть внучка? – удивился Нуйкин. – Поздравляю! Сколько же ей?

– Завтра год, – ответила Екатерина Марковна (ее все еще продолжали смущать взгляды – *этакие* взгляды – из очереди). – Приходите, – повторила она и вот – улыбнулась. Робко, смущенно, но улыбнулась.

– Приду, – пообещал Нуйкин. – К которому часу?

– Ну, часам так к семи...

– Товарищи, ну сколько можно болтать в магазине? Работать надо, а не ляды точить! – заволновались в очереди.

– Спокойно, спокойно, товарищи, – проговорил Нуйкин, приподняв руку.

– До свиданья, – сказала Екатерина Марковна. – Так мы вас ждем. – И вышла из булочной.

На другой день точно в семь часов вечера Нуйкин позвонил в квартиру Екатерины Марковны. Дверь открыла хозяйка.

– Семен Семенович? Проходите, здравствуйте!

– Вот, примите, – Нуйкин протянул букет мимоз. – Поздравляю от всей души!

– Спасибо, – Екатерина Марковна несколько смутилась. Она тем более смутилась, что из коридора вышла молодая девушка и настороженно, цепко окинула Нуйкина взглядом. – Возьми, это тебе. – Екатерина Марковна протянула цветы девушке. – Семен Семенович нас поздравляет.

– Здравствуйтесь, – проговорил Нуйкин в явной робости.

– Здравствуйтесь, – ответила девушка довольно холодно.

– Познакомьтесь, – быстро заговорила Екатерина Марковна. – Это Тося, моя дочь. А это – Семен Семенович...

– Нуйкин, – добавил тот и даже как бы поклонился, что ли.

– Очень приятно, – сказала Тося, но настороженности своей к гостю не изменила.

– Ну, что же вы, раздевайтесь, – заторопила Екатерина Марковна Нуйкина. – Плащ вот сюда, шляпу сюда...

Прежде чем сесть за стол, Екатерина Марковна повела Нуйкина в спальную комнату. В детской кроватке, под красивым кружевным одеялом (в кружевах, конечно, был пододеяльник) спала девочка: нос кнопкой – не в бабушку, губы пухлые – тоже не в нее, а вот цвет лица – темный, скорее, даже смуглый – точно шел от Екатерины Марковны.

– Нравится? – спросила она.

– Да. Хорошая девочка.

В дверях, в проеме, появилась Тося. Роста она была небольшого, худенькая, совсем девочка, только глаза – крупные, внимательные и, кажется, немало пережившие, узнавшие, что почем бывает на свете; так вот – внешне она как-то мало походила на женщину-мать, скорее, напоминала обиженную десятиклассницу или, в крайнем случае, первокурсницу института: так еще она была хрупка, юна, беззащитна.

– Мама, ну ведь разбудите... – с укоризной, еле слышно прошептала она.

– Мы тихо, тихо. – И Екатерина Марковна увлекла за собой Семена Семеновича. – Мы только немного, посмотреть...

Сели пить чай; спиртного не было никакого, и Нуйкин мысленно поблагодарил Бога, который отвел его от мысли купить шампанское. Цветы – да, а на шампанское Нуйкин махнул рукой, вспомнив, как Екатерина Марковна спросила его когда-то: «Вы, наверное, выпить хотите?» – «Да, не отказался бы», – признался тогда Нуйкин. – «Вот этого как раз и не будет. Обойдетесь!» – «Да?» – удивился Нуйкин неожиданности ее логики. «А вы как думали? Пьянствовать будете у меня? Достаточно того, что притащились без всякого приглашения. И вот теперь он пришел по приглашению, но спиртного, слава Богу, с собой не захватил. И, как убедился, был прав – алкоголь тут не признавали.

Сели пить чай; торт, конфеты, вишневое варенье; разговор не клеился, Нуйкин терялся под настороженным, будто пронзающим взглядом Тоси. Наверняка она не одобряла решения матери пригласить в гости Нуйкина. Кто этот Нуйкин? Тося так и не добила от матери вразумительного ответа.

Выручила всех Юля – видно, проснулась и, никого не увидев, испугалась, расплакалась. Тося бросилась в спальню.

– Я, наверное, стесняю вас, – сказал Нуйкин Екатерине Марковне.

– Ну что вы, – ответила она, – дело совсем не в этом. Просто Тося обижается...

– На вас? Из-за меня?

– Семен Семенович, ведь вы пришли на день рождения? А торт даже не попробовали...

– Да, да, конечно. – Нуйкин поспешно откусил кусочек. – О, вкусно...

Екатерина Марковна улыбнулась, но как-то печально, понимающе, что ли.

– Все дело в том, что, когда умер мой муж, я ничего не сообщила Тосе.

– Как же так? – Изумление Нуйкина было неподдельным.

– Ну, а что я должна была сообщить ей? Умер в постели любовницы? (Простите, конечно...) Приезжай? Да и каково ей было бы тут, приедь она сюда, во время этого гнусного похоронного позора.

– Но ведь отец все-таки.

– Отец... В том-то и дело. Я позже написала, конечно, объяснила... Она отца не любила, отчасти потому и уехала, из-за наших с ним отношений... Но – смерть есть смерть. Я понимаю Тосю: она в растерянности, никак не может выработать в себе верного отношения к случившемуся...

– А вот и мы! – В дверях кухни, улыбающаяся, появилась Тося, держа за руку дочь.

Юля стояла на ногах твердо, смотрела вокруг осмысленно и в то же время вопросительно: кто этот чужой дядя?

– Ну, иди к нам, – поманила ее бабушка. – Оп-ля!

Юля еще некоторое время стояла в нерешительности, словно думая: стоит идти или нет, раз около бабушки какой-то незнакомый, – но вот смело шагнула вперед и быстро потопала к бабушке, с радостным визгом ткнувшись, наконец, в ее колени.

– Ух ты, моя хорошая! – Екатерина Марковна подхватила ее на руки, затормошила, затискала так, что Юля время от времени вскрикивала и заливалась тонким смехом.

И вдруг по колготкам ее заветвилась тонкая струйка...

– Ах ты, проказница! Ну-ка, пойдем менять штанишки... И не стыдно тебе, не совестно? При гостях? В день рождения? – Екатерина Марковна, шутливо-укоризненно покачивая головой, вынесла Юлю из кухни.

Нуйкин с Тосей остались одни. Семену Семеновичу было совсем неловко: молчать стыдно, а говорить – так и вовсе не знал о чем.

– Простите, конечно, – произнесла Тося, – вы, наверное, хорошо знали папу?

Нуйкин вздрогнул от этого вопроса.

– Не совсем... То есть, если откровенно, знал мало. Вообще не знал...

– Да-а? – удивленно протянула Тося. – Странно... Тогда, значит, вы мамин знакомый?

– Выходит, да. Совершенно верно. Екатерины Марковны.

– Понятно-о... – многозначительно произнесла Тося. И не только с удивлением, но и как бы с некоторой настороженностью оглядела Нуйкина с ног до головы. – И давно вы познакомились?

– Нет. Если честно, совсем недавно. С полгода назад...

– Понятно-о... – вновь многозначительно протянула Тося. – Но вы хоть знаете, что у нас случилось в семье? Что умер папа?

– Да, да, конечно. – Нуйкин не мог смотреть на Тосю, опустил глаза.

– Семен Семенович, у меня к вам просьба... Но только дайте слово, что ничего не расскажете маме?

– Ну, это само собой. Не беспокойтесь.

– Папа у нас был замечательный человек. (Нуйкин так и обмер от этих слов.) Замечательный. И мама глубоко переживает его смерть. Прошу вас, Семен Семенович, никогда не говорите с мамой на эту тему. Для нее это – незаживающая рана. Боль. Не нужно травмировать ее. Прошу вас!

– Ну что вы, Тося, что вы! Обещаю вам! Да мы и так никогда не говорим об этом. Зачем?..

– О, я смотрю, у вас тут оживленный разговор... Познакомились поближе? Ну и молодцы! – Екатерина Марковна, улыбаясь, ввела внучку за руку на кухню. – Ты бы вот о тайге Семену Семеновичу рассказала... Вы не представляете себе, Семен Семенович, как это, оказывается, интересно... и страшно. Правда, Тося?

– Бывает. Поначалу, – ответила Тося.

И тут спасительно зазвонил телефон. Тося вышла в коридор. И, вернувшись буквально через минуту, сказала Екатерине Марковне виноватым, просительным голосом:

– Мам, если я уйду ненадолго... Ты ничего?

– Ну, о чем разговор.

– Там у нас одноклассники собрались. Ведь не виделись сколько...

– Да иди, иди, господи! Нашла, о чем переживать! Иди! – Екатерина Марковна улыбнулась. – Справимся мы тут с проказницей Юлькой. Верно, Юлька? – Она потормошила внучку.

– Ну, я тогда побежала... Всего доброго, Семен Семенович!

– До свидания, – ответил Нуйкин. Он очень не хотел показывать Екатерине Марковне, что у них с Тосей состоялся какой-то тайный разговор. Интонация его голоса была самой нейтральной, обычная вежливость при прощании, не больше.

Остались одни. Екатерина Марковна усадила внучку за детский стол, положила ей пирожное на тарелку, налила в кружку-непроливашку теплого чая.

– Сколько Тосе лет? – спросил Нуйкин.

– В августе будет девятнадцать. А что?

– Совсем девчонка. А глаза – серьезные. Печальные даже.

– Помыкалась там. Говорю: оставайся дома. Не хочет. Поеду обратно – и все.

– А Юля?

– В том-то и дело. Умоляю оставить ее здесь. Пока не решили.

– А где она там живет?

– В зимовье.

– Это что такое? – Слово «зимовье» Нуйкин слышал не раз, но положила руку на сердце не знал, что оно из себя представляет.

– Ну, это избушка, что ли, такая. В тайге. В глухом лесу. Летние бывают избушки, зимние. Всякие. Живут они там все вместе, бригадами.

– Зимой холодно?

– Бывает, что очень. Но от Тоси мало чего добыешься. Все больше отмалчивается.

– Характер?

– Нелюдимою стала. Совсем не та, что уезжала. Прямо узнать не могу.

– Ба-ба, ма-ма, – лепетала за своим столом Юля. Сидела довольная, вся перемазалась в креме, что, видно, особенно нравилось ей. Бабушка не обращала внимания, не ругала.

– А что же она одна приехала? Без мужа? – спросил Нуйкин.

– Какой муж? – усмехнулась Екатерина Марковна. – Нет у нее никакого мужа.

– Нет мужа? – удивился Нуйкин. – Где же он?

– Да его и не было.

– Как это?

– Ну, Семен Семенович, вы что, первый день на белом свете живете? Дети и без мужей могут рождаться...

Нуйкин смотрел на Екатерину Марковну расширенными глазами. Не верил.

– И вы так хладнокровно говорите об этом?

– А что я должна делать? Мы с Тосей квиты.

– То есть? – не понял Нуйкин.

– Я скрыла, что умер Евграфов, она – что родилась Юля. Вот такие мы мать с дочерью!

– Да! – вырвалось у Нуйкина. – В каждом человеке что-нибудь обязательно неожиданное, непредсказуемое...

– Не говорите, Семен Семенович. – Екатерина Марковна произвольно взглянула на часы-кукушку, висевшие на стене.

– О, я уже засиделся, – по-своему воспринял этот взгляд Нуйкин. – Мне пора, пора...

– Да что вы, сидите. Это я к тому: надо бы с Юлей на улицу выйти. Погулять перед сном.

– Вот и хорошо. Вы как раз погуляете, а потом я потихоньку пойду к себе.

– Вы, кажется, говорили, что на Песчаной живете?

– Да, там.

– Ну, это совсем близко. Очень хорошо.

Екатерина Марковна умыла внучку, надела на нее теплые штаны, свитер, пальто, шапку с помпоном, меховые сапожки. В лифте Юля испуганно жалась к бабушке – не привыкла еще к московской чудо-юдо-технике.

Семен Семенович улыбнулся.

Выходя из подъезда, столкнулись с известной грозой округа Марком Захаровичем – он был, будто никогда не раздевался, все в том же долгополом, на манер шинели, пальто, с теми же тускло-золотыми пуговицами железнодорожника, и взгляд его оставался по-прежнему неусыпно бдительным, настороженным.

– Доброго вечера, уважаемая Екатерина Марковна! Доброго здоровьица! – Он приподнял руку как бы к козырьку, как бы отдавая честь, хотя на голове у него не было никакой фуражки, а так, потеряв, заваливающаяся шапчонка.

– Здравствуйтесь, – ответила Екатерина Марковна. – Семен Семенович, помогите, пожалуйста!

Но Семен Семенович и без просьбы уже помогал ей – в четыре руки вынесли из подъезда коляску, в которой торжественно восседала именинница Юлька.

– Ух ты, пузырь какая! – пошевелил перед ней пальцами Марк Захарович. – А мамка убежала уже, убежала, а как же, видели, приметили, им, молодайкам, все нейметя, все не терпится по гулянкам, по волосатикам...

– Простите, Марк Захарович, нам некогда, – проговорила Екатерина Марковна.

– Доброго здоровьяца и вам! – как бы поклонился, что ли, Марк Захарович Нуйкину. – Значит, не забрали вас тогда в милицию? Поздравляю от души! Вот у нас так: пьяницу никогда не заберут, а честного человека – обсмеют да еще и плюнуть на него нороят. Это ничего. Это можно. А почему? А потому, что на посту...

Нуйкин покраснел. Хорошо, был вечер и никто, кажется, ничего не заметил.

Наконец отъехали с коляской от Марка Захаровича на безопасное расстояние. А он все стоял, смотрел вслед, покачивал головой то ли в восхищенном удивлении, то ли в осуждающем недоумении: «Смотри-ка, опять тот, который тогда... Ну, бабы! Ну, народ! Ну, шельмы!..»

Сначала молчали; не проходил неприятный осадок после встречи с Марком Захаровичем; одна Юлька безмятежно лопотала что-то в коляске.

– Простите, никогда не интересовался: вы кем работаете, Екатерина Марковна? – спросил Нуйкин.

– Библиотекарем.

– Понятно, – словно ставя точку над чем-то, что давно его мучило, проговорил Нуйкин.

Гуляли они по тем самым живописным улочкам, где расположились домики художников. Проходя мимо дома Хмуруженкова, которого, естественно, Екатерина Марковна хорошо знала, она поздоровалась с художником, завидев его во дворе; удивительней всего было то, что Хмуруженков отдельно поздоровался и с Нуйкиным.

– Вы знакомы? – удивилась Екатерина Марковна.

– Немного, – уклончиво ответил Нуйкин. – Клиент в булочной.

– Талантливый художник. Впрочем, испорчен... Такие, как мой муж, кого угодно развратят и испортят. Даже святого.

– А в какой библиотеке вы работаете? – прервал ее Нуйкин.

– В «Некрасовке». Хотите заглянуть?

– Нет, что вы... Это я так. Мне просто хотелось представить, где вы работаете, кем. Так легче.

– Что легче?

– Человека понять легче. Простите, конечно, Екатерина Марковна, не хочу вас обидеть... но я ведь понял, почему вы пригласили меня сегодня...

– А что тут такого? – бодро-приподнято произнесла Екатерина Марковна. – Взяла и пригласила вас на день рождения вот этой шалуньи... – Она потормошила в коляске Юльку. – Так, проказница?

– Ба-ба, ба-ба, – лепетала в ответ внучка.

– Знаете, мне очень хочется сказать, что вы хорошая, – просто и прямо признался Нуйкин.

– Ой, ну что вы такое говорите! – смущенно воскликнула Екатерина Марковна.

– Я ведь видел, как вы растерялись тогда... Вы готовы были провалиться сквозь землю. Вам стало стыдно, что мужчина за кассой в булочной – ваш знакомый. Вы вылетели из магазина как обожженная. И я подумал: ну вот, еще с одним человеком ясно, чего он стоит. Я люблю узнавать правду о человеке, даже если разочаровываешься, даже если это приносит боль.

Екатерина Марковна, как совсем недавно сам Нуйкин, густо покраснела; одна надежда была – на вечер, на то, что в темноте стыд незаметен.

– Я, – говорила она, – дело в том, что я...

– А потом вы вернулись, – продолжал Нуйкин. – И я все понял. Я понял, что вы хороший, добрый человек. В вас есть главное – совесть. Спасибо вам, Екатерина Марковна.

– Ну что вы...

– И за этот вечер спасибо. Желаю вам, и дочке вашей, и внучке – счастья! А теперь я пойду... мне вот сюда... До свиданья! – И, не мешкая ни секунды, Нуйкин свернул в проулок и растворился в темноте.

– До свиданья... – прошептала растревоженная, удивленная Екатерина Марковна.

Лет десять назад, когда отношения Евграфова с женой еще были далеки от того, чем они стали впоследствии, у них состоялся один памятный разговор (Тося в это время была в школе), после которого правда каждого обнажилась четче и жить друг с другом стало трудней.

– Совесть у тебя есть? – спросила тогда Екатерина Марковна. (Какая жена у какого мужа не спрашивала об этом?!)

Евграфов решил отшутиться:

– Ну вот, как только какое-нибудь серьезное дело, начинаются упреки, подозрения... (Он и в самом деле – под видом обычной деловой встречи – собрался к очередной любовнице.)

– Как можно жить и лгать беспрестанно, безостановочно, будто это какая-то поэзия, правда, суть жизни?

Что-то в этих словах поразило Евграфова, он приостановился в прихожей, посмотрел на жену внимательно.

– А знаешь, ты это здорово сказала: что ложь – поэзия жизни. Поздравляю! Не всякий мужчина додумается до этого.

– Ну, еще бы! Ложь – поэзия жизни! Удобная философия для оправдания мерзостей, гадостей...

– А ты что хотела, – вдруг зло, с искаженным лицом зашипел Евграфов, – чтобы я ползал как червь по земле и исповедовал вашу философию? Будь добр, будь честен, будь вьючным ослом, пусть сидят у тебя на шее, пусть пинают под зад, скребись всю жизнь в одну щель, может, допустят в рай перед смертью, помрешь как агнец? Для кого тогда красота? радость? деньги? женщины? любовь? Или ты предлагаешь мне, как сделала это сама, превратиться в книжного червя, шелестеть страницами и упиваться созерцанием того, как жили другие люди – достойные, честные, правдивые, умные, талантливые? Так знай же: именно бездарные люди живут правильно, соблюдают мораль, гордятся нравственностью, кичатся потомством, при этом размножаются как жуки навозные: слепо, тупо, бездарно! Ты возьми любого, кто так или иначе выбился в люди, сделал себе имя, оставил след в искусстве. Кто это? Это люди, поправшие усредненную мораль, поправшие философствующее заблуждение: ах, не делай зла, ах, возлюби ближнего, ах, сиди около женской юбки! Вспомни Сезанна, Гогена, Ренуара, Ван-Гога – разве это были добропорядочные люди с точки зрения общечеловеческой, усредненной, лицемерной морали? Гоген плюнул на семью, на пятерых детей, на хапугу-жену, уехал на Таити, стал жить с Майоркой, с дикаркой. И кто теперь осуждает его? Кто помнит теперь об этом? Теперь знают одно: Гоген – гений!

– Гоген – художник, – спокойно произнесла жена Евграфова. – А ты кто?

– А я – мужчина! – взорвался Евграфов. – Любой мужчина творец по своей сути. Творить – значит отвергать то, что признает большинство. Ты хочешь, чтобы я, как шавка, просидел у твоих ног, чтобы в конце концов меня благосклонно потрепали по облысевшей голове: ах, молодец, ах, пуделек, какой смиренный, какой послушный, всю жизнь просидел на задних лапках и ни разу не твякнул! Плевать я хотел на вашу философию! Плевать, ясно это?

– Ясно, – все так же спокойно проговорила Екатерина Марковна. Она потому была спокойна, что вдруг многое поняла в муже. Она думала: он гуляет, потому что просто гуляет, как все – как мужчина, как кот, а тут, оказывается, совсем другое, у него философия, убеждения, взгляды...

– Ах, дети, ну что вы так расшумелись? – В прихожую вышла Антонина Степановна (Тонечка). Вышла смущенная, улыбающаяся, седенькая, хрупкая, так и заносило ее из стороны

в сторону на слабых ногах. Примечательной была еще одна черта: она носила всегда большущие тапочки, которые еле-еле держались на ногах, и эти тапочки шаркали, волочились, стучали об пол... Задолго до появления хозяйки тапочки обычно предупреждали: приближается Тонечка... А тут они и этого не услышали.

– Да нет, нет, ничего, – начала успокаивать Тонечку Екатерина Марковна.

– Вот-вот, – проговорил Евграфов, глядя на обеих с горячей злостью. – Давайте, успокаивайте друг друга, лейте елей, ну а как же – такие обе добрые, хорошие, чистые...

– Кант, прекрати! – вырвалось у Екатерины Марковны.

– О чем это вы? – не понимала Тонечка. В ту пору ей было под семьдесят, иногда плохо слышала, отчего часто – невпопад – улыбалась, стараясь показать, что все слышит, понимает. Тогда она еще жила с ними, верней – жила в своей комнате, а они – в своих двух: квартира была коммунальная.

– Ладно, пошел, – сказал Евграфов и хлопнул дверью.

– Что он сказал? – спросила Тонечка у Екатерины Марковны.

– Он сказал: всего доброго, он пошел.

– А-а, ну-ну... Кстати, Катенька, у вас не найдется лишней коробки спичек?

После рабочей смены Егор обычно уходил в чащобу, к берегу Неруссы-реки. Угрюмый, с печальными глазами, в которых, пожалуй, было больше боли, чем печали, Егор, с его густой черной бородой, с лохматыми кустистыми бровями, с никогда не причесанными непослушными волосами, производил впечатление замкнутого, странного, а иногда и страшного человека. Страшного своей нелюдимостью, замкнутостью, угрюмостью взгляда. В бригаде его побаивались – не силы его побаивались, не характера, не огромных жилистых кулаков, а тяжелого неподъемного взгляда. Уж если он что сказал, да не сделают, то так посмотрит... Бригадирское место он занимал по праву, лучше других знал дело, был сильнее всех – и физически, и характером – вот только работать с ним было не всегда легко: тепла не хватало, сердечности, душевного уюта.

Каждый вечер он уходил к Неруссе-реке; уходил один. И всякий раз либо сидел на перекатах с удочкой в руке – одного за другим таскал золотисто-пепельных хариусов, либо плел «морды» из ивняка и ставил их на тайменя в глубинных местах, в омутках и ямах Неруссы-реки. Рыбу он отдавал, конечно, в общий котел, а вот рыбачить сообща, бригадой, не любил. Такая душа – рыбалку признавал только в тиши, в одиночестве. Или тут была еще какая-то причина?

От ближайшего поселка строителей зимовье пряталось километрах в двадцати, не меньше. Жили обособленно – каждый день, даже каждую неделю, в поселок не находишься. Когда Тосю спросили: «Что умеешь делать? Варить умеешь?» – она кивнула почти машинально. «Ну вот, Егор, будет вам кашевар. Забирай девчонку», – и начальник отряда, будто отделавшись от какой-то надоевшей ему мысли, с силой пожал Егору руку.

Тот смерил Тосю тяжелым взглядом. Ничего не сказал, ни о чем не спросил.

Когда шли к зимовью, глухой лесной тропой, Егор иногда останавливался, поджидал Тосю. Она отставала, в досаде на себя хмурилась. И злилась на Егора. Чемоданчик ее он нес в руке, но шел так, будто не было с ним никакой Тоси. Вот только иногда останавливался, поджидал ее.

В дороге сели перекусить. Егор сосредоточенно жевал бутерброд, Тося боялась встретиться с ним взглядом – бородатый, угрюмый, непонятный человек. С ближней ели на них с любопытством поглядывал бурундук. Тося никогда не видела бурундуков, смотрела с опаской, думала: вдруг это какой-то страшный зверь? Егор, поняв ее, усмехнулся, и бурундук, распушив хвост, метнулся на соседнюю ель, пулей взлетев в вершинник.

– После школы приехала? – спросил Егор.

Как бы ей хотелось ответить: нет, давно окончила, чего только не повидала, куда только не ездила! Да как такое скажешь?

Она кивнула: после школы, да.

– Издалека? – спросил он.

– Из Москвы.

Он посмотрел на нее повнимательней.

– Поехала жизнь узнавать?

– А что, нельзя? – спросила она с вызовом.

Он не ответил. Дожевал бутерброд. Подхватил чемодан и, не взглянув на нее, пошел тропой дальше.

В первую неделю она трижды испортила борщ. Трижды лесорубы уходили на просеку без первого. Колька Соловей откровенно спросил Егора:

– На хрена нам эта музыка?

Бригадир не ответил.

Через неделю, когда Соловей еще злей, чем прежде, повторил свой вопрос, Егор ответил:

– Небось ложку в первый раз тоже уронил.

– Чего-о?.. – не понял Колька.

– Мы только матку сосать сразу мастера. Остальное – через горб.

– Не понял. – Колька Соловей искренне ничего не понимал.

– Не понял – поймешь.

Тося все слышала в своем закутке. (Разговор шел в зимовье). Кусала губы. Легко было бросить все – мать, отца, Москву. Легко было уехать. А здесь тайга. Глушь. Ни одной родной души. Котел на двенадцать душ. И не борщ получается – пересоленная бурда какая-то. Как она жалела теперь, что не научилась у матери элементарному: готовить еду. Отца не любила. С матерью ругалась, спорила. А вот научиться щи варить – не хватило ума.

Если бы не Егор... Не будь его, вывели б ее из тайги в два счета. И куда потом?

... Через полгода она скажет ему: спасибо.

А он не поймет ее. Искренне не поймет. Пожмет плечами. Он давно все забыл. Да и трудно было помнить – она стала отменной поварихой. Как будто век такой была...

Каждый день Егор уходил на Неруссу-реку. За полгода, что она знала его, он не изменился. Все такой же угрюмый, неразговорчивый. На Тосю не смотрел. Один только раз, когда Колька Соловей попытался «познакомиться» с ней поближе (забрался к Тосе в закуток, она закричала), Егор сграбастал Кольку в охапку и вышвырнул из зимовья. Тосе сказал:

– Ты мне мужиков не порть.

– Да я же... он сам... – залепетала она.

Он взглянул на нее мрачней мрачного:

– Смотри! Рассыпется бригада – ты виновата будешь. Выгоню к чертовой матери!

– Да я... при чем тут я?..

– Я все сказал.

Этот их разговор все слышали в зимовье. И даже те, кто втайне примеривался к Тосе, с тех пор оставили думать о ней. Жили в работе. Работой. Валили лес в несколько пил. Сучковали. Колька Соловей чокеровал хлысты – Егор на бульдозере стаскивал их в огромные штабеля. Метр за метром тайга отступала, просека ширилась, продвигалась вперед. Когда-нибудь по ее руслу побежит железнодорожное полотно...

Каждый вечер, после рабочей смены, Егор уходил на Неруссу. Однажды Тося не выдержала. Пошла за ним следом. Сама не знала зачем. Непонятный, высокий страх душил ее. Когда она вышла к перекату, где он сидел, под ногой у нее хрустнул еловый сучок. Егор оглянулся. В это время хариус хватанул кузнечика, Егор дернул удочку, и сиренево-золотистый хариус упал прямо Тосе под ноги.

Хариус бился около ее ног; Егор смотрел на Тосю, она смотрела на него.

– Отцепи-ка рыбину, – сказал он. И как будто усмехнулся при этом.

Она присела, слепо нащупала руками хариуса, сдернула его с крючка, а сама продолжала смотреть на Егора.

– На, – протянула она ему хариуса.

– Брось в ведро, – приказал он; насадил нового кузнечика и забросил наживку в Неруссу.

Она стояла сзади него; он не обращал внимания, продолжал следить за поплавком. Время от времени резко выдергивал лесу из воды и тут же забрасывал снова. Она присела рядом с ним, обняв ноги руками, положив голову на колени. На той стороне Неруссы, на крутом каменистом берегу, высился расщепленный молнией кедр; в голых его, засохших ветвях, будто в паутиной сетке, стлыло закатное солнце.

– Ты презираешь меня? – спросила Тося, сама удивившись своему вопросу. Еще секунду назад она не знала, что хочет сказать ему, и вообще – о чем говорить с ним, – тоже не знала.

Он даже не покосился на нее, выдернул из Неруссы очередного хариуса.

– Значит, презираешь, – вздохнула она.

Он и на это ничего не ответил.

– Знаешь, спасибо тебе, – сказала она. – Мне давно хочется сказать тебе: спасибо.

Вот тут он взглянул на нее. Но опять ничего не сказал, только пожал плечами.

– Если бы не ты, – продолжала она, – меня давно бы выгнали отсюда. Ты вспомни, какой я борщ варила! – Она прыснула. Смех ее был взволнованный, он душил ее.

– А почему ты такой одинокий? – неожиданно оборвала она смех; голос ее дрожал.

– Никогда! – сказал он. Сказал зло, сосредоточенно.

– Что никогда? – не поняла она; кажется, у нее даже зубы стучали друг о друга.

– Никогда не будет по-твоему!

Она смотрела на него во все глаза. Она не понимала.

– Иди в зимовье, – приказал он. – И чтоб не шлялась за мной!

Она хотела рассмеяться, но только нервно всхлипнула. Она смотрела на него со страхом.

– Все, – сказал он. – Иди! – И взглянул на нее побелевшими глазами; черная его борода пенилась проседью.

Но она не могла подняться, ноги не слушались ее; сидела, чувствуя, как душа сладко и горько кипит от боли, обиды и любви.

– Иди! – твердо повторил Егор.

Шатаясь, она наконец поднялась на ноги и слепо шагнула в сторону. Она отступала спиной, продолжая смотреть на него; но он ни разу не обернулся.

Зайдя в чашу, она, не сдерживая себя, громко разрыдалась; она ничего не понимала в себе; такой боли и унижения еще не случалось в ее жизни. Ее будто током било, так сотрясалось все тело, плечи, руки...

В зимовье она вернулась затемно.

Через месяц она забеременела. Через четыре месяца об этом узнали все. Бригада не верила своим глазам.

– Кто? – спросил Егор. Он выставил всех из зимовья, посадил ее напротив себя и сверлил глазами. – Кто?! – закричал он.

Она не смела смотреть на него.

– Ну?! – он так хлопнул кулаком по нарам, что на другом конце жердин подпрыгнула подушка и свалилась на пол.

– Не наши, – прошептала она.

– Кто, кто? – как в заклинании повторял он.

– Помнишь, я была в поселке...

– Когда? Только не врать! Убью!

– Ну, тогда... после того, как я приходила к тебе на Неруссу. Когда ездила потом в поселок, за продуктами.

– Ну?!

– Там все и случилось...

Он смотрел на нее как на сумасшедшую. Не верил. Не мог и не хотел верить.

– Кто он? – снова спросил он, на этот раз совсем тихо.

– Кажется, студент. Из Ленинграда. Они там ехали дальше, на восточный участок, кажется. Пригласили меня. Выпили. Я толком не помню ничего...

– Дура! – закричал он. – Дрянь! Учти, будешь рожать. Рожать будешь!

– Буду, – покорно согласилась она.

– Будет она! – взвился он. – Да ты хоть понимаешь, что наделала?! Мы ее берегли, берегли, а она...

– Я не знаю... я сама не своя была... Я назло, нарочно...

Они посмотрели друг другу в глаза. И все стало понятно теперь. Но было поздно. Поздно...

Рожала она в поселке. Потом Юльку забрали в зимовье. Воспитывали бригадой. Нянчились по очереди.

Ропота никакого. Никогда.

Говорили так: наша Юлька, бригадная.

Каждое утро Екатерина Марковна отводила Юльку в ясли, каждый вечер забирала ее. И будто спала туманная пелена с жизни. Крутилась, вертелась, уставала, но словно глотнула свежего воздуха. Помолодела, подобралась в теле, как если бы расцвела еще одной, более зрелой, женственностью.

Ясли находились на Песчаной, и нет ничего удивительного, что однажды Екатерина Марковна с Юлькой столкнулась с Семеном Семеновичем. С момента последней встречи прошло месяца два с половиной.

Лето. Вечер. Душно в Москве.

Нуйкин поминутно вытирал пот со лба чистым, свежо пахнущим одеколоном платком.

– А Тося уехала, – как какую-то очень радостную весть сообщила Екатерина Марковна.

– Уговорили ее оставить Юльку в Москве? – спросил Нуйкин.

– О, вы догадливый! – рассмеялась Екатерина Марковна. – Если б вы знали, скольких трудов это стоило!

Нуйкин поманил Юлю на руки:

– Ну, пойдешь к дяде в гости?

Юля настороженно-вопросительно посмотрела на бабушку. И покрепче ухватилась за ее ладошку.

– Кстати, вот здесь я и живу, – показал Нуйкин на дом. – Не хотите заглянуть? Правда, на посторонний взгляд у нас не совсем, конечно...

– Право, не знаю, – заколебалась Екатерина Марковна.

– Ну, как хотите, – проговорил Нуйкин; он не обиделся, нет, просто сказал, как сказалось, а ей послышалось, будто он обиделся, и она тут же добавила:

– Впрочем, можно, конечно. Правда, Юлька?

Юля важно кивнула, хотя вряд ли понимала, о чем вообще идет речь.

– Угощу вас знаете чем? Фирменным кексом! – пообещал Нуйкин.

Они вошли в подъезд мрачного, тяжелого в своих архитектурных излишествах дома, в котором, чувствовалось, жили не простые жильцы. Жили избранные.

Дверь, в которую Нуйкин вставил ключ, находилась на первом этаже, сразу, как только пройдешь вахтера и поднимешься по мраморной лестнице с перилами из чугунного литья. Квартира, однако, оказалась совсем крохотной; даже, наверное, и квартирой ее назвать было нельзя – небольшая комната и чуть левой от прихожей – кухонька; больше похоже на подсобное помещение или на жильё для сторожа.

– Не удивляйтесь и не пугайтесь, Екатерина Марковна, – предупредил Нуйкин. – Здесь живет мой друг, холостяк. Вот позвал меня к себе. Живем теперь вдвоем...

Увидеть всего этого Екатерина Марковна никак не ожидала. Посредине комнаты стоял круглый, даже не полированный, а просто крашенный, самый запростецкий стол; четыре табуретки самодельного изготовления, диван, старинный обшарпанный буфет, деревянная кровать, на которой вместо матраца, было видно, настелены доски, поверх досок – тряпица, не тряпица – простыня, ну а дальше – одеяло, две подушки, накидка. Что еще? Окно (комната слепая, темная, мрачная) занавешено простенькой шторкой. Еще что? Из обстановки, пожалуй, все. Но главное – книги: везде, где только можно, лежали то стопкой, то грудой, то небрежно разбросанные, то аккуратно сложенные книги, книги, книги...

– Чем занимается ваш друг? – удивленно спросила Екатерина Марковна.

– Сережа-то? Сережа – сторож, – ответил Нуйкин. И тут же, почти без перехода: – Вы располагаетесь, Екатерина Марковна. Я сейчас... чай поставлю... И кекс... Вот, это главное – фирменным кексом вас угощу! Я же обещал!..

Непонятно, что имел в виду Нуйкин, называя кекс «фирменным». Когда сели пить чай, кекс оказался самым обычным, заурядным, в любой булочной такой продается.

– А что за секрет в вашем кексе? – поинтересовалась Екатерина Марковна.

– Как что за секрет? – удивился Нуйкин. – Это же кекс из булочной, где я работаю!

– Ах, вон что, – рассмеялась Екатерина Марковна. Юля, глядя на бабушку, рассмеялась тоже, хотя наверняка не понимала, почему бабушка смеется.

Рассмеялся и Нуйкин:

– Ловко я вас поймал на крючок?

– Даже и не знала, что вы шутить умеете. Как-то непохоже на вас.

– А многое ли в нас похоже на то, какими мы являемся в действительности?

– В самом деле, – согласилась Екатерина Марковна. – Юлечка, хочешь посмотреть картинки в книжке?

Юля кивнула.

– Да, да, верно, – встрепенулся Нуйкин. – Сейчас мы тебе подберем. Сейчас... – Он взял Юлю за руку, она теперь не сопротивлялась, подвел к книгам. – Вот эту хочешь? И вот эту, да? А вот эту? Ну и умница. Садись, вот сюда, смотри картинки, только аккуратно. Хорошо?

Юля кивнула.

– Семен Семенович, вы, наверное, скучаете по дочери? – спросила Екатерина Марковна.

Нуйкин ответил не сразу. Собственно, он как бы вообще ничего не ответил, пробормотал нечто неопределенное.

– Сколько ей лет? Большая? – продолжала Екатерина Марковна.

– Девять. В этом году в третий класс пойдет.

– Большая девочка, – задумчиво произнесла Екатерина Марковна. – Как это ужасно, когда рушатся семьи... Вы хоть видите с дочерью?

– Нет, – ответил Нуйкин.

– Не видите с дочерью?! – воскликнула Екатерина Марковна. – Но это же нехорошо!

– Видите ли, она живет с бабушкой, с моей тещей, а Марьяна Иоанновна меня не признает.

– Почему? Из-за ваших отношений с женой?

– Да как вам объяснить, чтобы было понятней... – замялся Нуйкин. – Если быть откровенным до конца, дочь-то мне неродная. Я женился на Жан-Жанне, когда у нее уже была Барбара. Конечно, я ее удочерил, но теперь это не имеет никакого значения. После развода теща знать меня не желает, к дочери не подпускает. Говорит: вы ей никто, забудьте ее!

– Постойте, но вы, кажется, платите алименты?

– Плачу.

– За неродную дочь?

– Родная или неродная, она моя дочь, я ее отец.

– А эта ваша... жена, – споткнулась Екатерина Марковна. – Она что же? Как она относится ко всему этому?

– Жан-Жанна? Спокойно получает алименты. Радует, наверное.

– Как это?

– Ну как... Деньги до Барбары не доходят. Дочь живет с бабушкой, а Жан-Жанна – сама по себе. Все деньги, правда, не ахти какие, тратит, конечно, на себя.

– И вы платите? Несмотря на то, что знаете правду?

– Плачу.

– Нет, вы странный человек... Вы же этим только развращаете жену!

– Ее уже ничем не развратишь. Я исполняю свой долг, остальное меня не касается.

Некоторое время молчали; только что-то лопотала Юля в своем углу, рассматривая яркие картинки.

– А как вы здесь-то оказались? И кто этот Сережа? – заинтересовалась Екатерина Марковна. Ее удивляло обилие книг, хотя комната сама по себе была странная, если не убогая.

– Сережа – сторож. Мой друг. Я ушел из дома, и он позвал меня к себе. Живем теперь вдвоем.

– Странно... А как же ваша квартира? Ведь у вас была какая-то квартира? Ну та, в которую ходил Евграфов...

– Я развелся и ушел оттуда. Там осталась Жан-Жанна.

– Выходит, это ее квартира?

– Нет, квартира моя. Она досталась мне после смерти родителей. Когда мы поженились, Жан-Жанна уехала от матери и прописалась у меня. А дочку оставила у Марьяны Иоанновны.

– У вас была своя квартира? – удивилась Екатерина Марковна. – Ваша?

– О, когда-то я был богатый человек, – улыбнулся Нуйкин. – Жан-Жанна знала, за кого выходить замуж.

– Богатый? В каком смысле? – не поняла Екатерина Марковна.

– В каком смысле люди бывают богатые? – усмехнулся Нуйкин. – В том смысле, что было много денег, например.

– У вас?! Откуда?

– Я и раньше работал продавцом. Да только продавцом совсем в другом роде.

– Что-то не понимаю...

– Чего тут понимать... Работал в мясном отделе.

– Ах, вон что, – кивнула головой Екатерина Марковна. – И вы хотите сказать...

– Да, именно это. – Нуйкин не стал ждать, когда она договорит фразу. – А потом я устал. Устал от лжи. От презрения к самому себе.

– Непохоже все это на вас... Может, вы наговариваете на себя?

– Похоже, прекрасно похоже! Вы думаете, это легко – постоянно осознавать себя подлецом?! Вот вы пришли ко мне в магазин, вы, женщина, мать, улыбнулись мне, я улыбаюсь в ответ, я заворачиваю вам мясо, вы уходите, потом старушка какая-нибудь совсем дряхлая, потом девочка, потом мужчина, и так целый день, весь день крутишься, как белка в колесе, и каждого обманываешь, хоть на сколько-то, но обманываешь, потому что тебе нужно якобы

жить, нужны деньги, семье нужны деньги, жене, теще, дочери, всем – деньги, деньги... А потом оглянешься: куда деньги-то идут? Жене на тряпки? На тряпки, которых у нее чем больше, тем она больше и больше хочет иметь их? На золотые побрякушки? На груды посуды, от которой ломятся шкафы и буфеты? На картины теще, в которых, подозреваю, она ничего не понимает, а только делает вид, как делают вид многие, что что-то знают об импрессионизме, модерне, классицизме... Куда идут деньги? В серьги? В безделушки? В престижные вещи? Добытые лживым путем, деньги и не могут идти в иное дело, кроме как в фальшь! Одно связано с другим. Ты ворует, развращаешь себя, жену, семью, дочь и самым натуральным образом живешь лживой лицемерной жизнью. И потом вообще странно: один ворует, а другой этим пользуется. Как пиявка, сидит на теле и сосет, сосет тебя... И вдруг оглянешься однажды: да что это такое?! Что за жизнь? почему? для чего? куда она ведет? в пропасть? в бездну?.. Но что началось, когда я попробовал разом изменить эту жизнь! Я превратился в изгоя, в дурака, в мерзавца, в слюня, в мозгляка. Только я ушел из мясного отдела, как жена демонстративно, на моих глазах, завела шашни с Иваном Карловичем, заведующим соседним магазином. Тоу меня не переводились деньги, верней – деньги не переводились у жены, а теперь вдруг твердый, непривычный оклад в 110 рублей. И как сразу изменилась теща! Куда девались ее воспитанность, деликатность, культурный слог, изысканные манеры! Она стала смотреть на меня, как сквозь стекло: смотрит, но не замечает. А как иначе: ведь ей надо было покупать хрусталь, фарфор, старинные вещи, копии картин импрессионистов, каждая из которых стоит от двухсот до пятисот рублей, в зависимости от имени художника и размера полотна, а тут вдруг зять, эта бездонная денежная бочка, этот кретин и идиот, лишил ее духовной жизни, лишил всего: смысла, цели, наслаждения! Как она могла иначе отнестись ко мне, кроме как к предателю и неврастенику? И что другое могла она внушать внучке, которую держит в строжайшем повиновении? И не только в повиновении, но и в почитании к самой себе, к своим вкусам, идеалам, представлениям? Какой же искривленный человек вырастет из дочери, когда она сможет осознать самое себя! И, наконец, жена... О, она сначала думала, она надеялась, что это у меня блажь, дурь, временное, пройдет... А потом, когда увидела, что нет, тут что-то другое... как она возненавидела меня! Как хотела побольней уколоть, уязвить, как хотела изничтожить, стереть в порошок! И тут как раз этот случай с Евграфовым... Простите, с вашим мужем, Екатерина Марковна... Я хотел только одного: побыстрее развестись с женой. Но я не мог этого сделать! Удочерив Барбару, я мог развестись с женой только через суд. А жена развод не давала, боялась за квартиру, за тряпки, за вещи... А я не мог ее видеть! Я должен был развестись как можно быстрее. Немедленно! Мне нужен был сильный довод для суда... И вот я пришел тогда к вам за помощью. Но вы не поняли меня, оскорбились...

– Но я ничего не знала, – голос у Екатерины Марковны дрогнул.

– Я понимаю. Я все понимаю, – торопливо заверил ее Нуйкин. – Но у меня не было тогда никого. Все отвернулись от меня. И я пришел к вам... Вы – единственная женщина, которая могла мне помочь. Но ничего не вышло, сорвалось. И я терпел эту пытку еще три месяца.

– Вы говорите, у вас есть друг, Сережа. Разве он не мог помочь?

– Он – не мог. У него нет знакомых женщин, которые могли бы сыграть такую роль. И потом, Сережа – это вообще другое. Как бы вам объяснить. Совсем другое...

Тут неожиданно расплакалась Юля. Екатерина Марковна бросилась к ней.

– Что ты? Что с тобой? – Она подхватила ее на руки. – Ну, что за слезы такие? – Кончиком платка Екатерина Марковна вытирала Юлины слезы, которые крупными горошинами текли по щекам. – Видно, устала, – сказала Екатерина Марковна Нуйкину. – Или ей скучно стало. Мы говорим, говорим, и вот она заскучала... или испугалась...

– Да, да, конечно, – виновато-потерянно произнес Нуйкин. – Простите, заговорил вас.

– Мы, пожалуй, пойдем, – сказала Екатерина Марковна. – Правда, кнопка? – И она нажала Юле на кончик носа.

Юля, будто и не было никаких слез, восторженно рассмеялась, продолжая по инерции время от времени всхлипывать.

– Я провожу вас, – встрепенулся Нуйкин.

Предвечерняя духота на улице спала; недавно прошел легкий дождик, и воздух дышал свежестью, ароматом цветов на Песчаной, душистыми тополиными листьями, влажным ветром...

Нуйкин хотел было забрать Юлю у Екатерины Марковны, подхватить на руки, но девочка запротестовала.

– Нет, нет, что вы, – сказала Екатерина Марковна. – Сейчас она не пойдет. Рассердилась.

– За что? – удивился Нуйкин.

– Э, никогда не поймете. Так уж устроено женское сердце. – Екатерина Марковна вновь нажала Юле на нос, и та рассмеялась восторженней, чем прежде.

Шли к дому Екатерины Марковны различными переулками и закоулками.

– Чем же у вас все закончилось? – спросила Екатерина Марковна.

– Развелся и ушел от жены. Ничего мне не нужно – никаких денег, никакого богатства. Все это – страшная, изнуряющая ложь и глупость.

– Но без денег все-таки нельзя, – сказала Екатерина Марковна.

– Разве я живу без денег? Я устроился в хлебный магазин, сел именно на кассу, чтобы даже и возможности такой не было – воровать, хапать, присваивать, зарабатываю 85 рублей, и мне вполне хватает.

– 85 рублей?! – удивилась Екатерина Марковна. – Но ведь из них вы платите еще алименты?

– Да.

– Как же вы живете на такие деньги?

– Обыкновенно. Не так уж много нужно денег, чтобы жить честной жизнью. Это все только кажется, что нам не хватает денег. На жизнь – хватает, на пресыщение – не хватает никогда.

– И вы ничего не взяли у жены? Ну, не у нее, конечно, а из своей квартиры? Ведь там многое принадлежит вам.

– Мне ничего не нужно.

– Станный вы человек, – задумчиво проговорила Екатерина Марковна. – Если бы я не знала вас, я бы не поверила, что такие люди бывают на свете.

– Таких, как я, сколько угодно. Только они не на виду. Их не замечают.

– Муж всегда меня ругал, что я идеалистка. Я защищала что-то похожее на то, о чем говорите вы. Но он почти уверил меня, что такого не бывает в жизни. Я ругалась с ним, но душой изнывала: вдруг он прав? Это ужасно, когда любую настоящую веру, любую правду топчут ногами. Смеются над ней. Перестаешь верить во что-либо святое...

– Вся вера внутри нас, – убежденно произнес Нуйкин. – Если она есть, ее никто не в силах погасить.

– Кто это сказал? – Екатерина Марковна и в самом деле подумала, что это сказал кто-то из великих. Толстой, например. Во всяком случае, очень похоже.

– Это сказал Сережа. Мой друг.

– Кто он – этот ваш загадочный Сережа? – улыбнулась Екатерина Марковна.

– Сережа – сторож.

– Ах, ну не хотите говорить – не надо. Я же чувствую, что он не совсем простой человек...

Откуда у него столько книг?

– Единственное, что у него есть, – это книги. Больше ему ничего не нужно.

– И вам?

– Я пока не дошел до этого. Мне далеко до Сережи. Сережа – это хрустальная совесть. Это – свет. Это – чистота.

– Ну вот, опять мы пришли к нашему дому. – Екатерина Марковна показала рукой. – Что же вы никогда не заглядываете к нам? Хотя бы позвонили, Семен Семенович.

– Да как-то неудобно.

– Ну что вы, в самом деле... Звоните, заходите!

– Да, да, спасибо.

– И потом... мне хочется сказать вам... в прошлый раз вы так тепло отозвались обо мне... Мне хочется сказать вам: не отчаивайтесь, не переживайте. Вы хороший, добрый человек. Вы должны быть счастливы!

– Да, да, спасибо... До свидания, Екатерина Марковна. – И Нуйкин поспешно отступил назад, пошел в свою сторону.

Вслед ему, конечно, смотрела не только Екатерина Марковна, не только махала на прощание рукой Юля, но и бдительно, настороженно исследовал его спину вечный страж порядка и морали Марк Захарович в длиннополом своем, несмотря на лето, суконном пальто.

За день до того, как Евграфов пошел умирать к Жан-Жанне, он выехал на «Жигулях» из Москвы. Впрочем, он делал это каждую неделю, всегда по воскресеньям, без каких-либо изменений или внутренних отговорок. Евграфов любил сдерживать слово, даже если оно дано не кому-то другому, а только самому себе. Пунктуальность – признак настоящего мужчины.

С Садового кольца Евграфов свернул на Кутузовский проспект и очень скоро выехал на Минское шоссе. Он любил это шоссе. Просторное его полотно, окруженное с обеих сторон вековыми елями, всегда чистыми, как бы умытыми (недаром говорят – вечнозеленое дерево ель), полотно этой дороги вносило в душу Евграфова успокоение, а может, и большее – умиротворение. Он всегда включал музыку, и вот так, посвистывая или напевая понравившуюся мелодию, на большой скорости мчался по стремительной нитке шоссе.

Несколько человек пытались «голосовать» на пути Евграфова; на мужчин он не обращал внимания; на женщин старше тридцати пяти тоже не реагировал; но когда впереди замаячила тоненькая фигурка девушки, в джинсах, в короткой модной куртке, с корзиной в одной руке и с сумкой – в другой, Евграфов, не колеблясь, плавно нажал на тормоза. Чуть повернул к обочине и с молодецким шиком остановился прямо у ног девушки.

– До Ивановки не подвезете?

Ни слова не говоря, Евграфов широким жестом распахнул дверцу: садитесь, о чем разговор!

Когда Евграфов подсаживал молодых девушек, он никогда не начинал с ними разговор сразу. Он давал им возможность прийти в себя, привыкнуть к дороге, вслушаться в музыку, осмотреться по сторонам и, наконец, расслабиться, почувствовать себя удобно, уютно в голубоватой машине, за рулем которой сидит, кажется, неплохой дядька, не пристает, ни о чем не спрашивает, не лезет в душу. Правда, славный дядька, хоть и староват, кажется? И начинаются тайные поглядывания на него, примеривания взглядом... Именно так повел себя Евграфов и с этой девушкой; и вот она наконец привыкла к машине, к Евграфову, к дороге; ей нравится музыка; и вообще славно мчаться по прекрасной дороге на личной машине, о, это совсем не то, что на общественном транспорте в битком набитых автобусах...

– В Ивановку на дачу? – спросил Евграфов как можно более нейтральным голосом.

– Нет, домой, – охотно ответила девушка.

– Вы там живете? – удивился Евграфов.

– Да. А что тут такого?

– Как-то не похожи вы на деревенскую девушку.

– А я и есть не деревенская девушка, – улыбнулась попутчица.

- Ах, ну да, конечно, – подхватил Евграфов. – Я это сразу понял.
- Я из Брянска, – сказала девушка. – И надо же было такое выкинуть – вышла замуж за ивановского парня.
- Разлюбили уже, что ли?
- Я-то вроде нет, а вот он...
- Что он?
- Да представляете, по неделям дома не ночует.
- Во дает! – рассмеялся Евграфов.
- Было бы смешно, не будь у нас дочки.
- И как же вы живете?
- Так и живем. Я с дочкой, а он Бог знает где пропадает.
- А работает кем?
- Трактористом.
- О, парень, значит, разбирается в двигателях... Между прочим, знаете, с кем вы сидите?
- Нет, а что? – И столько было простодушия в ее вопросе, столько искренней заинтересованности, что Евграфов улыбнулся. Ободряюще так улыбнулся.
- Вы сидите рядом с человеком, который открыл тайну «вечного двигателя». Слышали о таком двигателе?
- Конечно. В школе проходили.
- Вот именно – проходили. Прошли – и забыли. А мне, между прочим, принадлежит мировое открытие в этой области.
- Ой, ну будет вам! – рассмеялась девушка. – Какое такое открытие? Что-то не похоже на вас...
- Любовь – вот что такое «вечный двигатель».
- Ну, какое это открытие, – скривила губы девушка. – Это-то открыть каждый может.
- Каждый, да не каждый, – торжественноназидательно произнес Евграфов. И начал развивать свою теорию. Поскольку девушка была замужем и знала тонкости любви, Евграфов смело развешивал перед ней картины великого открытия. А когда он сказал про особый прибор, который человечество должно обязать каждого семьянина привязывать к ноге, девушка прыснула и про себя подумала: «Господи, какой дурак!» Евграфов, не обращая внимания на ее смех, изложил свою теорию до конца.
- Но это же глупость какая-то, – сказала девушка, и не думая, конечно, щадить Евграфова.
- Да?
- Да!
- Евграфов озабоченно покосился на девушку – она смело встретила его взгляд, – помолчал секунду-другую и неожиданно рассмеялся:
- Смотри-ка... А я думал – я гений.
- Ну, конечно... Вы шутите. Правильно я поняла?
- А черт его знает! Вроде не шучу, а получается – никто не верит. Значит, шучу.
- Ой, кстати, вон поворот на Ивановку! Не проскочите, пожалуйста. Высадите меня.
- А хотите, подброшу вас прямо к деревне?
- Ой, нет, нет, что вы! – запротестовала она.
- Бойтесь?
- А как же? Вдруг увидит кто-нибудь. Подумают всякие глупости. Деревня все-таки...
- Значит, муж гуляет – можно, а вам гулять ни в какую нельзя?
- Разумеется.
- Разумеется? – изогнул бровь Евграфов.
- Конечно! Чего тут удивительного? Мужчина – это одно, а женщина – совсем другое.

– Ах, вот бы вы сказали эти золотые слова моей жене! – И Евграфов, нажав на тормоза, остановился недалеко от стрелки, показывающей поворот на Ивановку.

Девушка вылезла из машины, стройная, молодая, со смеющимися глазами, сказала ему кокетливо-озорно (теперь можно быть смелой, она в безопасности):

– Спасибо вам большое! Желаю вам сделать настоящее открытие.

– Эй, постойте! – крикнул Евграфов. Он и сам не знал, что с ним происходит. Ему хотелось быть легким, щедрым, добрым. – Вы знаете, кто я такой? Я художник.

– Вот это больше похоже на правду, – рассмеялась девушка.

– Хотите, я нарисую ваш портрет? Прямо сейчас, вон в том лесочке? На фоне вековой ели?

– Зачем же в лесочке? – она насмешливо качала головой. – И потом, я совсем не та, чьи портреты рисуют художники.

– Вы та! – клятвенно заверил Евграфов. – Вы именно та!

– Ну, я пошла, – ускользала она. – До свиданья. Еще раз – большое спасибо!

– Постойте же! – крикнул Евграфов. – Я хочу подарить вам свою картину.

– В самом деле? – Она, честно говоря, смотрела на него с недоверием.

– Да, в самом деле. – Евграфов поспешно вылез из «Жигулей», открыл багажник и, развернув холстину, вытащил из груды картин копию «Обнаженной» Ренуара. – Вот, – протянул он девушке. – Возьмите. Это мой подарок.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.